Александр Неверов

Марья-большевичка



Александр Неверов

Марья-большевичка

РАССКАЗЫ

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1987

Р2
Н40

Составитель *Н. Д. Ткаченко*

Н $\frac{4702010200-026}{М106(03)-87}$ 149—87

КРАСНОАРМЕЕЦ ТЕРЕХИН

1

Вот как рисовалось будущее ему: живет он, Терехин, за отцом, исполняет отцовскую волю. Потом отойдет от отца, будет вести свою линию. Дадут ему лошадь, может быть — пару овец. Не лошадь, так коровенку. Выселят поближе к околице на свободный пустырь, и он, молодой хозяин, станет раздувать свое кадило: класть копеечку на копеечку, рано подниматься, поздно ложиться. Лет через двадцать состарится, спустится под гору, выпустит на смену своих сыновей. А если придется поработать впустую — значит, судьба. Ничего не поделаешь.

Когда Терехин был маленьким, он уже видел, что у них с отцом очень нехорошая судьба — не такая, как у Степана Сысцова. Степанова судьба — из другой глины вылеплена. Сжалилась она над Степаном, построила ему пятистенную избу под жестью, полон двор нагнала лошадей с коровами, овец, свиней, насыпала разного хлеба амбар, берегла, как любимого сына.

В деревне про него говорили:

— Счастливый Степан — везет ему!

Терехиным — отцу с сыном — никто не вез. Избенка у них маленькая, тесная, грязная. Ни повернуться, ни разбежаться негде, и жили они в ней, как телята, привязанные веревкой за шею. Сроду из лаптей не вылезали. А пили-ели не то, что хотели, а то, чем судьба угощала. Угощала же она их очень скверной пищей. Отец вечно ругался, злился, плевал под ноги, замахивался на ребятишек:

— Скоро вы сдохнете, окаянные? Провалиться бы вам!

Ребята не проваливались.

Рассматривая свою жизнь, словно кобылу, выведенную на базар, думал отец:

«Что это такое? Руки у меня здоровые, не ленивые. Работаю в будни и в праздники. Не пьяница, не картеж-

ник, а живу словно пес под чужими окошками. Почему это так?»

Ему казалось, что в нем не хватает хитрости, чтобы разбогатеть, смекалки, и в погоне за этой хитростью со смекалкой старый человек начал немножко воровать. Где борозду лишнюю припашет из чужого загона, где выпустит лошадь нарочно в чужие овсы, присвоит обрывок веревки, припрячет попавшийся гвоздь. Много было греха из-за этой хитрости, много скандалу, а пользы никакой. Приходилось драться, щелкать зубами, щетиниться, смотреть на людей красными, затравленными глазами, и все-таки жизнь не толстела от этого, полноты и довольства не было.

2

Наступила война с Германией.

Собрала судьба мужиков, поставила, словно баранов, приготовленных на убой, сказала:

— Идите!

Не хотелось идти, плакали, упирались и все-таки пошли. А когда уцелевшие вернулись домой с пустыми болтающимися рукавами вместо потерянных рук, с короткими обрубками ног — судьбой возмущались, жаловались, но плюнуть в лицо ей никто не решался.

Пришла революция.

Это была не судьба, созданная невежеством, а гневная народная воля.

Терехин-старик незаметно помолодел, выпрямился, выше поднял голову, посмотрел вокруг веселыми, играющими глазами. И солнце стало другим, и старые знакомые поля с перелесками сделались шире, просторнее.

Радовался и молодой Терехин.

Вот свобода наступила, и он уцелел от войны, остался нетронутым, имеет здоровые руки, ноги. Думал:

«Наплевать на других! Только бы мне хорошо. Засеем с отцом побольше, насколько силы хватит, уродится — в отдел уйду, сам буду хозяйничать».

Жадный был.

Наголодался за двадцать два года своей жизни и Степана Сысцова догнать хотел. На свободу смотрел,

как на дойную корову, и все четыре соска хотелось захватить в свои руки, выдоить молоко в свой горшок.

Уцелел Терехин от царской войны, а революция поставила его в Красную Армию. Тогда он думал иначе. Думал-думал — затосковал. Ляжет уснуть, перед глазами — война: холод, ветер, пустынное поле. Щелкают ружья, ухают пушки, падают, ползают, барахтаются на снегу окровавленные, обмороженные люди...

Хмурился Терехин, открывая глаза по ночам.

— Не пойду! Зачем война? Разве нельзя без нее?

С этими думами его усадили в сани, выпроводили за околицу, поплакали, как над покойником, отправили в город. И всякий раз, лежал ли Терехин на отдыхе, шел ли степными проселками, увязая в снегу, стрелял ли сам чужими, неповинующимися руками, прислушивался ли к выстрелам других, бегущих навстречу, думал:

«Как только можно будет — убегу».

В сердце зрела измена. Боясь выдать себя, почти не разговаривал он. Все только прислушивался, молча стискивая зубы.

Спросят товарищи:

— Что такой, словно воды нахлебался?

Ответит:

— Ладно мне, какой есть...

3

Шли бои.

Одни уходили вперед, другие возвращались назад на носилках, третьи оставались на месте, пожертвовав жизнью за тех, кто оставался в живых, и в этом беспрерывном потоке люди падали, как листья, сорванные ветром. Снова шли, чтобы упасть в другое время, на другом месте, снова возвращались назад на носилках, незаметно терялись на дальних дорогах, в туманах, оврагах.

Иногда собирались в ряды, шли беззаботной походкой, перекинув винтовки, пели, шутили, смеялись, устраивали чехарду. Загоняли друг друга в сугробы, тыкали головой в снег, зябко постукивали подмороженными сапогами.

Сзади и впереди тащились большеротые пушки на высоких колесах, гремели походные кухни, понуро шли оседланные лошади, дымил ветерок. Глядя на все, каза-

лось: не война это, не страдание и не страшное, что кружило кольцом человека, а обычное, деловое, — ярмарочный обоз, растерявшийся на длинной изрытой дороге. Идут и едут люди с забинтованными головами не навстречу смерти, а к шумному артельному самовару на постоялом дворе, и разговоры у всех простые: о табаке, о девчонках, о хороших и плохих лошадях, уставших в походе.

Войны не было.

А потом эти же спокойные, равнодушные люди отчаянно раздували ноздрями, стискивали винтовки в прозябших руках. С размаху падали в снег, вытянув ноги, лежали разорванной цепью. Вскакивали, бежали вперед, снова падали, припадая губами к колючему жесткому снегу.

Опять повторялось прежнее.

Некоторые шли дальше, некоторые оставались на месте, раскинув руки, ноги. Попадались сорванные опаленные шапки, красные пятна, просочившие снег, мерзлый ботинок с оторванной ступней, поломанная винтовка, выпавшая из разжавшихся рук.

У Терехина было такое ощущение, словно он шел не по земле, а по тонкой натянутой веревке: вот-вот оборвется веревка! Разъедутся задрожавшие ноги, полетит вниз головой... Люди, идущие рядом, казались непонятными. Их шутки, чехарда, бесстрашное кидание вперед без жалости и раздумья никак не укладывались в голове. Хотелось понять: почему это так? Он идет с опущенной головой, они посмеиваются, разговаривают о табаке, лошадях, девчонках. Он прячется, отстает, ищет невидящими глазами бугорок, ложбинку, занесенную снегом, чтобы укрыться от смерти,— они не прячутся, не скрываются, лезут вперед. Падают и все-таки лезут. Разве им не хочется жить? Разве у них нет отца и матери, жены и детей?

Не мог понять Терехин.

И оттого, что не мог понять внутренней силы, побеждающей холод, тоску и страдания, нес он тяжелую ношу сомнений, жалости к себе, утомления. Уже не думал о побеге, потому что бежать было некуда, шел обреченным, наполовину погибшим, мысленно прощался с родными. Иногда плакал украдкой, закрывая глаза. Мучила одна мысль:

— Где, когда упадет он, роняя винтовку?

— Где, когда подойдет к нему смерть?

Одного хотел: умереть получше, поспокойнее, без лишних страданий. Хотя бы так вот: лежит он в цепи, отстреливается, думает о жизни, о том, что уцелеет, вернется домой, засеет земли побольше, а пуля — прямо в голову. Сразу! Совсем не жил человек.

Представляя себя убитым, говорил Терехин, поблескивая отуманенными глазами:

— Прощай, жизнь! Будет нам с тобой, пожили...

А хорошая жизнь стояла как на ладони.

Рисовалась пятистенная изба под жестью, будто у Степана Сысцова. Проходили лошади, коровы, овцы, свиньи, пять десятин ярового, пять десятин ржаного. Теплая печка, баба рядом, жирные дымящиеся щи...

— Эх, не поживешь!

Видел Терехин, как не взятые на войну рвали между собой хорошую сытую жизнь, позабыв о нем; в душе поднималась великая злоба. Мысленно плевал он им в глаза, лез на кулаки и, не разжимая плотно стиснутых губ, срамил матерщиной.

— Сволочи толстолобые! На чужой счет хотите выехать? Постойте, я вам покажу, только бы домой вернуться...

4

В роте, где служил Терехин, убили Якова Московского. По годам он сверстником был Терехину, только ростом повыше да плечами пошире. Шел он по трудному пути весело, беспечально, с распахнутой грудью. Будто нарочно пытал свою смерть. Падали впереди, позади и по бокам, пронизанные маленькими свистящими пулями, а Яков оставался нетронутым. Часто в растаявшей кучке маловерных, оробевших красноармейцев с перепуганными лицами только он один не мотался из стороны в сторону, укрепляя недовольных и ропщущих.

И в перекрестных выстрелах, и в отчаянных схватках, бросающих на штыки, и в жерлах расставленных пушек, плюющих через маленькие, подвернувшиеся деревни, видел Яков не волю отдельных людей, а волю неизбежного закона. И он, подчиненный этому закону, знал, что борьба за равенство немало потребует крови. Знал

Яков, что человечество, заведенное в тупик, еще не раз принесет огромную жертву, дабы жизнь на земле не была проклятием для замученных нищетой и бесправием. И он, маленькая капля в разгневанном море, борется не за пятистенную избу под жестью, не за собственных лошадей с коровами, а за великую справедливость, которая ведет его по тернистой дороге мимо перепуганных деревень, выглядывающих из сугробов. Та изба, которая представлялась Якову, была и светлее и шире — целая освобожденная жизнь, начатая и выложенная руками трудящихся. Ему не было обидно, что он не попадет в новую избу. Радовался он и тому, что войдут в нее другие, стоящие теперь перед запертыми дверями. Сознание, что он страдает и умрет не за себя, а за других, может быть, и не думающих о нем, укрепляло его, делало бодрым, годным на все...

Терехин часто смотрел на Якова украдкой, через чью-нибудь голову, из-за поднятых плеч, и каждое слово, сказанное Яковом, бережно укладывал в голове. Иногда ему жалко было веселого, спокойного Якова, уходящего на страшное, рискованное дело по ночам. Хотелось подойти и сказать:

— Убьют, не ходи!

Но сказать не хватало смелости.

Валяясь на отдыхе, долго бродил он за Яковом мысленно: спускался в овраги, вылезал на бугры, освещенные ущербленным месяцем, ползал на животе по синему, чуть-чуть похрустывающему насту, вздрагивал, прижимался, чутко ловил шорохи. А когда возвращался Яков с разведки, такой же спокойный, с промороженными щеками, Терехин чувствовал, что Яков чем-то подчинил его, притягивает к себе. Спрашивал он будто шутя:

— Страшно там?

Видел Яков, что Терехин внутренне раздавлен, говорил:

— Если не понимаем теперь, потом поймем: нельзя нам строить новую жизнь в одиночку. Или мы обгоним, или нас оставят позади. По-другому надо...

Для Терехина, прожившего двадцать два года в степной тишине, слова, сказанные Яковом, были нелегкими. А когда Терехин рисовал в будущем хозяйское гнездо, на которое сядет после войны, Яков качал головой.

— Ерунду выдумываешь, брат. Никогда ты не дойдешь до такого блаженства. Будешь бежать, торопиться, жадничать, лаяться с соседями, с женой, ребятишками. Ухватишься за лошадиный хвост и будешь держаться до самой могилы...

Ушел Яков в последний раз в темную буранную ночь на разведку и больше не вернулся. Терехин ждал несколько дней. Ему казалось, что это неправда и Яков должен вернуться. Отворит дверь неожиданно, скажет:

— Вот и я пришел! Все живы-здоровы?

Яков не шел.

Утро сменялось полднем, полдень — вечером. Наступала длинная, бесконечная ночь. Слышались чьи-то шаги под окнами, щелкал мороз, стукаясь головой в тоненькие стены избушки, где стояли на отдыхе. В душе нарастала тревога. Не стало только Якова, а будто вырезали кусок здорового мяса, полоснули ножом. В голову лезли мысли, оставленные Яковом. Жизнь повертывалась к Терехину то одной, то другой стороной. На одной стороне стояли лошади, пятистенная изба под жестью, как у Степана Сысцова. Висели ременные хомуты, намазанные дегтем, поперечники, дуги, седелки. Зрели, наливаясь крупным колосом, собственные десятины, насыщающие голодное сердце. А на другой стороне стоял Степан Сысцов с мягкой расчесанной бородой, весело играл голубыми глазами и потихонечку, но без остановки, двигался на засеянную Терехиным яровину, теснил, нажимал, отсовывал в сторону.

Открывая глаза, видел Терехин около себя спящих, похрапывающих чувашей с голыми пятками, молодых татарчат с круглыми обросшими головами. Видел сложенные в углу седла, чайники, мешки, развешанные портянки с чулками, — в сердце наливалась обида. Представлял себе спящую деревню, уложенную на полу, на кирпичах, на кроватях, сердился: на себя ли самого, на этих ли вот чувашей с татарчатами, плачущих, бормочущих во сне, или на тех, кто остался в деревне. Нарастало недовольство ко всей жизни, в которой он путался двадцать два года. И если жизнь эта опять повернется назад? Если затрут его, отсунут, обсчитают более ловкие? Смирные глаза у Терехина начинали тогда искриться, ущемленное сердце кричало:

— Нет, нельзя!

Видел он перед собой не Степана Сысцова с мягкой расчесанной бородой, не отдельного человека, которого знал с самого детства, а сотню, целую тысячу таких же Степанов, протягивающих длинные, несытые руки. Рано или поздно — все равно расклюют они и пятистенную избу, которую строит он мысленно, и новую, неокрепшую жизнь, из-за которой убили Якова.

Не давали спать мысли, посеянные Яковом, а минутами и сам Яков будто подходил к нему.

— Думаешь? Думай, думай. Много надо думать тебе. Сырой ты, необработанный! Темнота заела вас, жадность...

Вглядываясь в прошлое, видел Терехин эту темноту и в себе, и в своем отце, ворующем ржавые гвозди. Все они пораженные, робкие, завистливые. Каждый старается обмануть друг друга, растолстеть в одиночку. Только Яков никогда не заглядывал в свою сумочку и, уходя из жизни, оставил после себя лишь несколько тоненьких книжек в запертом сундуке да хорошую, спокойную улыбку. И чем больше думал Терехин, тем меньше было тоскливого чувства, подкашивающего ноги. Увидел он и свои двадцать два года, и свою нищету, и собачью погоню за хорошим житьем, понял: если гнаться и дальше за этим житьем по-прежнему в одиночку — никогда не догонишь его. Понял и то, что не было сказано Яковом, но подошло и раскрылось само. А подошла и раскрылась перед ним великая, тяжелая истина: ему, как и Якову, придется умереть за других. Не за себя только, не за свой пятистенок, а за светлую просторную избу для всех; и для этих чувашей с татарчатами, если уцелеют они в боях, и для тех, кто остался в деревне, кого знает и не знает он, но кто пойдет вслед за ним по непройденной, рано оборвавшейся дороге.

От сознания, что это будет так, а не иначе, сердце у Терехина обволакивалось плачущей грустью. Горько и обидно было, что умереть все-таки должен он, а не другие. Он еще не жил, и ему хочется жить... Жалко и морозных ночей с похрустывающим снежком под ногами, и дымного, завьюженного поля с редкими вехами узких проселков. Но в эти минуты к нему подходил Яков, погибший за других, поддерживал спокойной улыбкой:

— Нельзя по-другому, товарищ, пойми!

А в уши шептал знакомый пугающий голос:

— На кого идешь? Подумай! На братьев своих идешь...

Терехин упрямо мотал головой.

Видел он не мужиков, темных, слепых и покорных, выставленных против него, а другие лица, другие глаза, выглядывающие из-за мужицких плеч... Видел врагов, невиданных раньше. Они убили мужицкими руками и бескорыстного Якова. Они держали и их с отцом в грязной телячьей избенке. Они и воровать заставили отца, щелкать зубами по-звериному...

Ночь была темная.

Поднималась метель.

За околицей, в степи крутило воронкой. Снег набивался в уши, глаза, таял, замерзал на губах. Терехин шел, сжимая винтовку, и мысленно говорил Якову, ободряющему спокойной улыбкой:

— Иду!

1919

Я ХОЧУ ЖИТЬ

Мы на отдыхе в степной деревушке.

Я сижу на завалинке, глажу по спине большую лохматую собаку. Она шершавая, некрасивая, но длинная шерсть на спине у нее выгрета солнцем, и мне приятно посидеть вот так, слегка наклонившись над ней.

С крыши на плечо падают редкие капли, на задворках порывисто вскрикивают гуси.

Ржет жеребенок тонким голосом, клохчут куры.

Перед окнами стоят отпряженные пушки, вытянув стальные холодные шеи.

Потные лошади в седлах журкают сено.

Я сижу, подставив голову под апрельское солнце, смотрю на разорванную паутину голубеющих облаков, плывущих над талой, почерневшей землей. Уши мои не оглохли от пушечных выстрелов: слышу, как порывисто вскрикивают гуси, весело клохчут курчошки, тихо-осторожно падают на плечо ко мне редкие бесшумные капли...

Эго — моя походная весна.

Может быть, последняя.

Вслушиваюсь в шорохи, в крики, встречающие молодую апрельскую весну — сердце волнуется.

Дома у меня — жена и двое детей. Маленькая комнатка в нижнем этаже, чуткие настороженные уши, хватающие поздние шаги на лестнице. Там ждут меня.

Может быть, схоронили давно.

Посматривая на ручеек под ногами, на воробьев, прыгающих у лафетов, вижу сына Сережку с бледными малокровными щеками и трехлетнюю Нюську с голубенькой ленточкой в золотых перепутанных волосах. Они сидят на подоконнике, прижавшись друг к другу, смотрят сквозь талые окна. Ищут меня среди прохожих, ждут, когда я приду, посажу на колени. И две опечаленные мордочки наливают мне сердце отцовской горечью.

Достаю письмо из кармана, старое, давно прочитанное, присланное из дому.

Жена утешает меня:

— Я не плачу. Крепись и ты...

А когда уходил, она говорила:

— Зачем ты идешь добровольно? Разве тебе надоела жизнь?

Я боялся, что жена не поймет моей любви к жизни, и осторожно ответил:

— Я должен идти и пойду... вот за них, за ребятишек.

По щекам у жены покатились слезы.

Были в них горе, любовь и страдание, а ноги мои не дрожали.

Теперь жена ободряет меня.

— Не бойся за нас: я терпеливая — все вынесу...

Дальше — письмо от Сережки.

Он не умеет писать буквами, наставил мне палочек, хвостиков, крючков, завитушек и маленький растопыренный кустик без листьев. Внизу пояснение от матери:

— Понимай, как хочешь...

Я понимаю Сережкины буквы.

Первый раз я прочел письмо в походе, когда шли в наступление, и эти палочки с хвостиками посмотрели на меня светлыми укрепляющими глазами. Я поцеловал их украдкой, чтобы не посмеялись товарищи, и, пощупав винтовку, сказал:

— Иди, отец!

Я и теперь думаю так.

Я иду умирать не от скуки, не от старости и не оттого, что надоела мне жизнь. Я очень хочу жить. Волнуют меня и эта вот ширь весенняя, и утренние и вечерние зори в затишье, и дальний полет журавлей, и лепет ручьев по овражкам. Я любовно обнимаю взглядом каждое облачко, каждый кустик и все-таки иду умирать... Иду навстречу смерти спокойно и твердо. Она летит ко мне в тяжелых артиллерийских снарядах, взрывающих талую, почерневшую землю, и в частых винтовочных выстрелах, вспыхивающих синим дымком. Я вижу ее, выглядывающую из-под каждого бугорка, одетого сумраком вечера, и все-таки иду не мотаясь.

Я иду умирать оттого, что хочу жить.

Я не знаю, как это сказать проще, другими слова-

ми, но, окруженный хохочущей смертью, не чувствую на себе холодных хватающих рук. Нет во мне ни страха, ни тоски, ни расслабленности. Не останавливают и глаза моих ребятишек. Вижу я их не заплаканными, а светлыми, улыбающимися, согретыми детской радостью, и мне очень тяжело представить светлые, улыбающиеся глаза такими же огорченными, какими были мои в далекое детство. Я не знаю, сколько слез выплакали мои глаза, не помню, чьи руки хватали меня за длинные волосы. Одно помню и знаю: глаза мои были невеселые, старые. Они не умели смеяться, не загорались и огнем детского веселья, не видели солнца, которое радует теперь.

Когда я родился, светлые просторные комнаты были заняты другими, «счастливыми», и нам с матерью достался сырой подвальный угол. Мать была прачка. Первое, что я увидел в углу у себя начинающими понимать глазами, — это мокрые штаны и рубахи, развешанные на веревках. Солнышко видел редко. Редко оно заглядывало к нам узкими преломленными лучами через железные переплеты в двух окнах. Отца совсем не видал.

Может быть, это был подвальный сапожник.

Может быть, тихий богобоязненный старичок из купцов, зажигающий вечернюю лампу.

А может быть, пьяный угрястый чиновник...

Мать пила.

В угол к ней по ночам приходили солдаты, крючники, ломовые извозчики в разорванных рубахах, бродяги, карманники. Иногда били ее, как бьют обессиленную лошадь, иногда напаивали до потери сознания и тупо, бессмысленно валили на кровать, не стесняясь меня...

Мы были «несчастные».

Мать так и говорила мне:

— Несчастные мы с тобой, Васька. Умри... сынок!

Но я не умер.

Я пошел по людям.

Не было у меня ни любви, ни ласки, ни теплого взгляда. Так и рос по-щенячьи: ударят — поплачу, погладят — улыбнусь. Я не знал тогда, почему мы несчастные, а другие счастливые, часто смотрел старыми, невеселыми глазами в глубокое, высокое небо. Мне говорили, что там сидит добрый боженька, устраивающий

жнзнь людям. Стонт попросить его, и он поможет. Мие очень хотелось, чтобы кто-ннбудь устроил нашу жизнь, и я молнтвенно смотрел в глубокое, высокое небо.

Боженька ие отвечал.

Боженька не вндел моих заплаканных глаз.

Учила меня сама жнзнь. Она раскрыла передо миой такие непреложные нстины, что, поняв и осмыслнв их, я уже перестал молиться. Ясно стало мне, что мы с матерью не зря посажены в подвальиый угол и ие волей отдельного человека, а волей тех, кто заиял вверху над иамн светлые просторные комнаты, освещенные солицем и огием электрнчества. Волей целого класса людей, ради которого тысячи другнх людей должны по-звернному пачкаться в слякоти темных подвальных углов...

Понял я н мать, которую бнлн по зубам, н ту роковую причиину, которая заставляла ее ложиться с «дружками» прн мне. В трезвых глазах у нее я вндел такую глубокую скорбь, такую хорошую матернискую улыбку, что сердце мое иаливалось любовью и жалостью к ией. Но оттого, что оиа была молода н краснва, иищета н бесправье повели ее иа улнцу, под негреющий свет фонарей, н впоследствни она, избнтая «дружками», ие раз проклнннала н себя, и жнзнь, и молодость.

Многое я поиял.

А самое главное — вот что понял я: жнву я в этом мнре, богатом красотой и роскошью, не как хозяии, а как иаемннк, как здоровый услужливый пес, подбнрающий крошкн. Я начал работать с семи лет, работаю ежедневно, и все-такн я ннщий, помойный отброс. Жнзнь моя устроена так скверно и обидно, что, если у меня ослабнут руки и не выдержнт иадорванная грудь, меия за иегодиостью выбросят, как сор из избы. Я, вырабатывающий ценности, совершенно не имею никакой ценности, как человек, и те хозяева, которые распоряжаются монми рабочнмн мускуламн, опозорят и меня, прнкованиого к постели, и детей монх, выгианных иа городскую бездушную улицу...

И теперь вот, когда я с улыбкой смотрю иа Сережкины палочки с хвостнкамн, моя любовь к иему, ие мотая, ведет меня под ружье. Моя любовь к опозоренной матери укрепляет усталые иогн. Мне страшно представить Сережку такнм же щеиком, какнм был и я, такнм же иаемииком, продающим здоровые мускулы рук.

Страшно подумать и о маленькой Нюське с голубенькой ленточкой в золотых перепутанных волосах.

При одной мысли, что дочь моя, вместо светлой улыбки, скривит, перекусит тонкие, побледневшие губы и, совестливо потупив глаза, неверными шагами выйдет вечером под негреющий свет фонарей; при одной мысли, что ее, рожденную в подвальном этаже, поведет за собой похотливый взгляд пресыщенного бездельника, при одной мысли об этом — сердце мое разрывается... Не вижу я винтовок, выставленных против меня, не слышу, как рвутся снаряды. Я стискиваю зубы, падаю, ползу, снова вскакиваю, бросаюсь вперед. Нет смерти! Нет вешнего убаюкивающего солнца!.. Полон молодости, неудержимого порыва, слышу я не весенний голос природы, а голос своей матери.

— Иди, сынок, иди!

Только одно я чувствую: я хочу жить! А для этого я должен отстрелять солнечные весенние дни для себя, для Сережки с Нюськой и для тех, кто не видит их старыми проплаканными глазами.

У меня прострелена одна рука, но это не последняя жертва. Мне придется или совсем лечь на талых просыхающих полях, или вернуться домой победителем.

Другого пути нет.

А я хочу жить.

Хочу, чтобы жили и радовались Сережка с Нюськой, чтобы жил и радовался весь наш квартал, выгнанный «верхними» людьми на помойки...

И оттого, что я хочу жить, оттого, что нет иного пути сделать все это и проще и легче,— любовь моя к жизни ведет меня в бой.

Долог мой путь.

Не один раз меня встретят утренние и вечерние зори в степях, но грусть моя светлая, укрепляющая...

Это — мой путь.

1923

НОВЫЙ ДОМ

1

В августе начались приготовления. По одной дороге возили бревна, по другой — известь, железо, кирпич. Старый сарай на старом дворе завалили ящиками, огород позади — ворохами натасканных бревен. С утра до вечера слышалось ржанье скученных лошадей, взвизгивание прижатых собак, растрепанные голоса мужиков. Ухали бревнами, громыхали железом, дымили известью, засоряя глаза, и тихая аксеновская улица походила на странный шумящий базар, где нечего было купить...

На крыльцо выходил хозяин, Григорий Лукич, одетый по-зимнему в теплый пиджак, медленно разворачивал черный сафьяновый бумажник, застегнутый пряжкой. Делал мужикам выговор, давал наставленье, грузно садился в приготовленный тарантас. Дел много, а времени мало. Нужно съездить на хутора, где работали на быках, с хуторов — на мельницу. Домой возвращался поздно: поужинав, садился за долговую тетрадь, заполненную цифрами. Если было душно, расстегивал ворот у подпотевшей рубахи и, перекладывая косточки на счетах, подсчитывал прожитый день. А когда часы и минуты, люди, быки и десятины превращались в рубли и копейки, — Григорий Лукич записывал их на приход.

Перед сном становился на молитву.

Грехов за собой не чувствовал, молился от полноты, от лишнего, выпирающего чувства, переполнявшего грудь... Иногда рядом с ним становилась и жена, Акулина Семеновна. Чужих в доме не было, становилась запросто, в одних рукавах, с дряблыми обнаженными плечами. Молилась на коленях, с земными поклонами, поминая живых и умерших, а он, посматривая сверху, думал о мельнице, о быках, о постройке, о том, как хорошо жить счастливому человеку...

2

В сентябре нагрянули пильщики с длинными звенящими пилами, плотники с выкрашенными сундучками, каменщики, чернорабочие, — работа пошла полным ходом. Кругом визжали пилы, дружно постукивали топоры, с шумом летело щепье. Пахло деревом, свежей наскобленной стружкой, похрустывающей под ногами, легким запахом умирающей осени...

Подрядчик, Иван Петров, расхаживал с ватерпасом в руке, со складным базарным аршином, выглядывающим из светлого начищенного голенища, а за ним вразвалочку кружился Григорий Лукич. Оба были не молоды, подстрижены в скобку. У обоих через грудь висели цепочки часов, утонувших в жилетных карманах. Иван Петров примеривал, прикладывал, нацеливаясь хитрым прищуренным глазом, а Григорий Лукич, улыбаясь, смотрел на народ. Было приятно сознавать себя хозяином в пестрой толпе мужиков. Чувствовалась особая радость и в том, что все они работают на него, имеющего силу держать их в руках. Хотелось встать на бревно повыше, размахивая суконной фуражкой.

— Вот я... Смотрите!

Работали с песнями.

Каменщики похлопывали баб, подтаскивающих кирпичи, бабы замахивались на плотников. Чернорабочие подвозили воду, песок на трех лошадях, а пильщики с утра до вечера кланялись на козлах, высоко поднимая вытянутые руки. Дни стояли теплые, солнечные. Небо было голубое, прозрачное, налитое тишиной и покоем, и под ним, благословляющим новую постройку, быстро, безостановочно рос, поднимался новый бревенчатый дом... Глядя на длинный некрашеный крест, поставленный посредине, на вороха необработанного леса, на камни, песок и железо, над которым и гнулись поденные спины, — казалось, что строится не дом, в котором будут жить Григорий Лукич с Акулиной Семеновной, а нечто большое и важное...

Когда вывели леса и плотники с топорами очутились наверху, рассаженные по углам, — случилось несчастье: убился Егор Кузьмичев, пожилой человек. Думали — так себе, отлежится. Егор начал плевать кровью. Инструмент его собрали, заперли в сундучок. Самого Егора

положили в избе у Гришковых, а сундучок с инструментами поставили рядом, около изголовья.

— Не поддавайся, — сказал Иван Петров, рассматривая желтого перепуганного человека с горьким упреком в глазах. — Крепись!

Но Егор поддался...

Целых два дня пролежал на полу у Гришковых, на пыльном раскинутом полушубке. Ночью на третий день горлом тронулась кровь... Испугавшись, начал креститься слабой, неуверенной рукой, попачканной кровью, слегка приподнялся, беспомощно оглядываясь по сторонам. Утром Егора не стало...

Хоронили с выносом.

Пели сами плотники густыми расстроенными голосами, вместе с дьячком. Иван Петров, в начищенных сапогах, покрывал их тонким раскатистым тенором, точно молоденький. На поминальном обеде запьянствовали. Плотник Варлам, корявый мужик с обрубленным пальцем на левой руке, вечером таскался с фуганком, ища покупателя, а маленький, плюгавый Митёка падал на стол головой, плакал, ругался, неистово сучил кулаками.

Григорий Лукич не раздевался в эту ночь.

Тревожили шорохи, скрипы, пьяные взбудораженные голоса. То представлялся Егор, падающий сверху, то покинутый коричневый сундучок у Егорова изголовья... Было душно, тяжело на теплой засасывающей постели. Открывая прищуренный глаз, Григорий Лукич всматривался, вслушивался, ждал неприятностей. У Акулины Семеновны всю ночь горела лампадка в переднем углу. На дворе, постукивая кольцами, бродила цепная собака.

Утром всколыхнувшаяся жизнь снова вошла в берега. Егор Кузьмичев выпал, как спелое зернышко, до которого нет дела другим, обреченным упасть в свое время. Так же светило солнышко с безоблачного неба, так же кланялись пильщики, вскидывая руки, словно собирались куда-то лететь. По-прежнему расхаживал Иван Петров с ватерпасом в руке, нацеливаясь хитрым прищуренным глазом... А присмиревший Варлам, оставшийся без фуганка, свесив ноги, сидел на бревне, вырубая гнездо.

Месяца через два плотников заменили кровельщики, маляры, печники, стекольщики. А еще через месяц из выведенных труб показался дымок. В новом дому шла уборка. Мыли полы, вытаскивали мусор. Акулина Семеновна в подоткнутой юбке подбирала гвоздочки, следила за бабами. Огромный дом с пустыми незаполненными комнатами казался ей слишком огромным, даже пугающим. Снаружи нравился лучше. Железная крыша с красными трубами, узорный карниз с расписанными наличниками на окнах, самые окна из толстого городского стекла, медные сверкающие ручки на дверях — все это радовало и глубже и больше, чем пустые и высокие комнаты...

Григорий Лукич отправился в город.

А когда вернулся из города, на станцию поехало восемь подвод, притащили в Аксеново мебель в рогожах: стулья, диваны, кровати, столы, этажерки, большое трюмо, упакованный граммофон с широкой полосатой трубой. Григорий Лукич устраивался не на шутку. Он видел, как живут «тысячники», догонял обогнавших... Самому ему, выросшему вместе с телятами, не нужны были ни стулья, ни трюмо, ни этажерки, за которые отвалил несколько сотен, заработанных быками в степи, но все это нужно было для тех, которые придут и будут смотреть, удивляться, хвалить и завидовать...

Мебель разместили по комнатам.

На большие начищенные окна выкинули занавески. Круглые раздвижные столы и столики обрядили цветными базарными скатертями. В зале повесили часы с певучим «монастырским» звоном, рядом картину, изображавшую море, луну, высокие желтые горы...

Расхаживая по комнатам, упорно рассматривая вещи, привезенные из города, Григорий Лукич то останавливался перед граммофоном, заглядывая в широкую полосатую трубу, то подолгу стоял перед зеркалом, наблюдая в нем крупную характерную складку на лбу у себя... Спокойные, отдыхающие глаза, украшенные мелкими морщинками, смотрели твердо, уверенно, с выраженьем силы и власти... Под усами лежала улыбка... Да, это он, Григорий Лукич, отражается в зеркале... Это его дом в несколько комнат... Его мебель... Его быки

работают на степи... Его поля засеяны рожью, овсом и пшеницей... И шапки скидают ему... И дорогу уступают ему... И пьянствуют все, и живут в темноте для того только, чтобы лучше, теплее, просторнее было ему. Черт возьми!.. Это не шутка... Да. Он очень сильный человек! Может согнуть, переломить и снова составить не одну, а целую сотню, целую деревню работающих мужиков...

Григорий Лукич улыбнулся, посматривая в зеркало на старика в теплой суконной жилетке, глазами сказал:

— Вот мы какие!..

Акулина Семеновна плавала из комнаты в комнату в мягких отороченных туфлях, одергивала скатерти на столах... На кухне подолгу разговаривала с пришедшими бабами, встречала нищих, поила, кормила, жалостливо совала им в руку «копеечку». По вечерам молилась богу, утром покрикивала на работников. Радость в новом дому не было никакой возможности вылить всю: ни в молитвах, ни в разговорах, ни в милостыне... Она лилась из обмякшего сердца, как вода из переполненного кувшина, излишек этой радости мешал даже спать по ночам.

4

В январе, на Крещенье, справляли новоселье.

Первыми приехали Полозовы на двух тройках, наигрывающих в колокольчики. Потом с Орлянского хутора, тоже на тройках, и разорившийся дворянин Кочетков, старый испорченный холостяк, играющий на последнего козыря... Прикатил земский начальник на паре чужих лошадей, пристав Рачков, толстенький длинноусый человек в синих полицейских шароварах... Попозднее нагрянуло соседнее духовенство, несколько бакалейных торговцев в объемистых пиджаках. Новый двор под сараями заставили лошадьми. Просторная кухня переполнилась распоясавшимися кучерами. В дому стало тесно...

Григорий Лукич помолодел.

Слышались громкие приподнятые голоса, почтительно упоминающие его имя... Шарили жадные, завистливые глаза, разглядывающие новые натасканные вещи...

Встречались улыбки, поклоны, взгляды духовных, размахивающих широкими рукавами... Двигали стульями, постукивали каблуками, кашляли, чистились, останавливались перед зеркалом, поправляя прически, шуршали одеждой... На кухне гремели посудой... На улице под окнами толпился народ...

— Вот она, настоящая жизнь!

Послали за иконами в церковь...

Молебен в дому служил местный батюшка, о. Анатолий, семейный, приниженный человек в голубой пасхальной ризе с чуть-чуть попачканным воротом. Служил неторопко, выразительно, отчетливо вырубая слова, а праздничное кадило на светлых цепочках, позвякивая кольцами, создавало особый подъем, располагающий к шумной волнующей радости... Пели два дьякона, пристав, о. Варсонофий с женой, лавочник Боков, любитель церковного пения, две гимназистки, дочери Григория Лукича, двое Полозовых: младший и средний... После молебна закатили многолетие «дому сему». О. Анатолий произнес коротенькое прочувствованное слово, приравнивая Григория Лукича к праведному Аврааму, получившему благословение божие. Не вытерпел и о. Варсонофий, иерей в скрипучем подряснике: рассказал притчу о талантах, где опять-таки упомянулся Григорий Лукич, получивший «десять талантов».

Григорий Лукич чувствовал, что он тает, растворяется и вместе с кадильным дымом уносится вверх...

— Вот она, настоящая жизнь!

Потом ходили по двору с крестом и кропилом, тревожили похрапывающих лошадей... А когда сели за стол, начались речи...

— Господа! — сказал пристав Рачков. — Мы являемся здесь вроде... свидетелей... Посмотрите на нашего уважаемого хозяина... Я вижу в нем, господа, силу, энергию, ум и... ба-альшую опору для нашего... края... Дорогу ему, господа! Я приветствую...

Гости закричали «ура».

Выступил дворянин Кочетков, связанный векселями, — не вышло. Спутался, загенегился, расплескал половину рюмки на стол.

— Желаю! — сказал, усаживаясь. — Дай бог...

Гости засмеялись, снова закричали «ура».

Григорий Лукич был растроган. Говорить не мог от волненья. Только кивал головой. Глядя на него с вымытой расчесанной бородой, на румяные помолодевшие щеки с светлыми улыбающимися глазами, — казалось: не за себя радуется, а вот за этих, съехавшихся на праздник, устроенный им...

Когда напились и наелись, завели граммофон. Младший Полозов подхватил молоденькую дьяконицу, пристав Рачков — матушку о. Варсонофия, слетовский дьякон-шутник закружился один. Выступил о. Анатолий в кофейном подряснике. Расстегнувшись, пустился выделывать «русскую», неловко выбрасывая ноги в нечищеных сапогах. Навстречу ему выплыла сама Акулина Семеновна с розовым распущенным платочком в руках. Григорий Лукич тоже потопал ногой...

О. Анатолия вывели.

Поздно вечером случилась маленькая неприятность. В то время, когда рассказывали анекдоты, снова явился о. Анатолий с мокрой взлохмаченной головой. Пристав пошутил:

— А-а, лесное подобие!..

О. Анатолий плюнул обидчику на шаровары. Пристав в свою очередь плюнул ему на кофейный подрясник. Их развели, разгородили, а через полчаса они пили на «ты», спорили о религии... Акулина Семеновна с лавочницами пела старинные девичьи песни... О. Варсонофий с приходским учителем разбирали методику. В соседней комнате сражались в банчок.

Веселились в эту ночь и в самом Аксенове. Слышались выкрики, песни, вспыхивали бесконечные драки... С вечера мужики кружились под окнами у Григория Лукича, лезли в кухню. Растравленные поднесенными стаканчиками, бродили теперь по сугробам, тыкались в снег, пели, ругались, хныкали. Больше всех веселился Трифон Полушкин, у которого Григорий Лукич откупил последнюю душу. Оставшись на птичьих правах, Трифон собирался бежать из Аксенова: в город, в Сибирь, за Каспийское море, в «Крым-пески», где его дожидается хорошая жизнь... А пока до отъезда поколотил бабу, спрятавшую деньги, перепугал ребятишек, стукнул кулаком по столу, ударился в темные слепые переулки.

5

Будни.

До обеда в дому мыли полы, вытаскивали праздничный мусор. Григорий Лукич лежал на новой железной кровати под плюшевым одеялом, чувствовал расслабление. В хмельной отдыхающей голове проходили вчерашние лица, улыбки, поклоны, а за всем этим стояла широкая плодородная степь, из которой черпал богатства и силу, как воду в реке... Весь почет, вся радость, волнующая сердце, выросли там — на степи, вырытые быками, таскающими бороны, плуги и рыдваны... Степь была грудью питавшей, а сам походил на большого ненасытого коршуна, жадно клюющего сочную грудь... Выхватил из широкого степного простора несколько сот десятин, вырезал целое поле, но этого мало... Хотелось продвинуться дальше, сесть пошире, запустить корни поглубже... Поглядывая на маленькие, плохо обработанные полоски мужиков, мысленно прикладывал их к своим десятинам... Десятины росли, увеличивались. Не охваченные глазом, уходили за черту горизонта... А на этих десятинах виделись паровые плуги, поднимающие степь на аршинную глубину, сеялки, жнейки, паровые молотилки — огромная полевая фабрика, поставленная им... Во главе этой фабрики — Григорий Лукич, перепутавший мужиков. Все работают на него, все зависит от него, всех он держит в руках, — все привязаны на веревочку... Стоит только дернуть эту веревочку, несколько деревень скажут:

— Что прикажете?..

Улыбнулся...

Некогда отец его, Лука Силантьич, богобоязненный мужик, собирал по зернышку, по кусочку. Деньги носил на шее, обувался в лаптишки, трясся над каждой копейкой. Григория Лукича зернышки не удовлетворяли. Сидя на отцовской кучке, понял: сидеть на ней по-отцовски нельзя... Надо повернуться, за что-то приняться, чтобы не умереть дураком. Отцовская кучка стала расти. То, что уходило от мужиков, из-под неумелых мужицких рук, вытащенное пьянством, нуждой и недостатками, — переходило к нему. Чем больше разорялись, гибли другие, тем сильнее, крепче становился Григорий Лукич. Богатство шло по нескольким дорогам... Пожа-

ры, падеж, градобитье, голод, ежегодио разоряющие му-жиков, совсем ие трогали Григория Лукича. Несли ему иовую радость, давали иовую силу. Ои, как охотник: расставлял только сети, а мужики, задавлеииые иище-той, заходили в иих сами, путались беспомощио, покор-но...

Пьяиеиькие говорили:

— Подлец ты, Григорий!.. Сосешь...

Трезвые почтительно сиимали шапкн, клаиялись, ус-тупалн дорогу.

Григорий Лукич — великан, крупный землевладелец, шагающий широко и уверенно, сшибить его нелегко... Он — ие барии, не родовой помещик со старым дворяи-скнм гербом, иаплевать ему на это... У него свой герб — кошелек...

Улыбнулся...

Рядом за перегородкой играли иа гитаре. Старшая дочь-гимиазистка пела. Мягко постукивал маятиик но-вых часов. В большие, чуть подморожеииые окна про-бнвались солиечные пятна. Искрились ледяиые узоры.

Раньше Григорий Лукнч не замечал этих мелочей. Солиышко было просто солиышко, иужиое для молоть-бы и уборки полей. Часы — просто часы, меряющие ра-бочее время, а гитара с песнями — ребячье, пустое, не-нужное для человека, думающего о быках... Теперь, в хорошую мииуту, переполиившую сердце хорошимн хо-зяйскими чувствами, захотелось отдохиуть, позабавить-ся...

— Клавденька! Сыграй мие веселеиькую!..

Пока Клавденька играла, плавал в певучих таицую-щих звуках, как толстый озерный карась в согретой во-де, показывал из-под одеяла смятую нерасчесаиную бо-роду... Пела сама жизнь, которую вел в поводу. Пляса-ла, кружилась, настроеииая твердой хозяйской рукой, в голову ударяло молодое, веселое...

После гитары заводили граммофои, ставнли хоровое, с басами... Больше всего понравилась «Херувимская». Грнгорнй Лукич мысленио подиимался на небо, отсчи-тывал деньги, которые должны раздать ннщим после его смертн, вешал лампады в монастырских церквах, ле-гонько вздыхал...

В полдеиь приходил о. Анатолий. Пнлн чай с малн-новым вареньем, закусывалн теплыми сдобными булка-

ми... Похмелялись... Во время чаепитья явился Трифон Полушкин с мутными опухшими глазами. Вошел в просторные комнаты неуверенно, с приниженной улыбкой на темном лице. Поднесли. Дали кусочек сдобной булки, посмеялись над свихнувшимся человеком, ласково выпроводили в сени...

Из сеней Трифон вышел не сразу. Плюнул на новую, обшитую войлоком дверь... Блеснула мысль: «А что, если сжечь это гнездо?..»

6

В феврале приехал сын, Семочка, из губернского города. Офицер. Служил адъютантом у начальника гарнизона. На плечах — золотые непомаранные эполеты с тремя звездочками, на левом боку — тоненькая игрушечная шашка с чистенькой, незахватанной рукояткой. Сам тоже чистенький, незахватанный, с маленькими приподнятыми усиками. От выпрямленной перетянутой фигуры в новеньких оттопыренных шароварах попахивало гордостью, искусственной генеральской брезгливостью...

Это был не мужик, не мужицкий сын, выросший в старом мужицком дому, а капризный, испорченный барин. По утрам просыпался в двенадцать. Долго потягивался, нежился, насмешливо оттопыривал губы, посматривая на отцовские хоромы. Мимо спальной ходили на цыпочках, разговаривали шепотом. В столовой подолгу шумел самовар, дожидаясь Семочку. На столе стояли приготовленные сливки, масло, сдобные булочки, варенье.

Завтракал Семочка в нижней сорочке с расстегнутым воротом. После первого стакана выкуривал папиросу. Немножко шутил. Посмеивался над отцом, над отцовским граммофоном с полосатой трубой. Останавливаясь у окна, рассеянно смотрел на проходивших по улице баб, мужиков, ребятишек. Как будто узнавал, как будто не узнавал. Все на этой улице было чужое, далекое, глупое, грязное. И он, выпрыгнувший из этого уклада, тоже чужой и далекий: и этим бабам с мужиками и соломенным крышам под снежными шапками.

Вечером подавали пару лошадей в теплых высоких санях, на козлы рядом с кучером садился денщик Се-

режка, молодой курносый парень. Семочка, вытянув ноги, приподняв меховой воротник у шинели, уезжал на прогулку. Резал узенькие степные проселки, обсаженные вешками, кружил по хуторам, забирался на маленькую железнодорожную станцию с буфетом, возвращался в Аксеново на заре усталый, тупой, беспомощный... Из саней выводили под руки, бережно укладывали в постель, словно маленького. Голову обвязывали мокрым полотенцем. Опять мимо спальной ходили на цыпочках, разговаривали шепотом.

Иногда Семочка буянил.

Вскакивая с постели, хватался за тоненькую игрушечную шашку, кричал:

— Сми...рр...нэ!.. Зарублю!..

Призывал перепуганного Сережку, вытянувшегося в струнку. Брезгливо поднимая пьяные разыгравшиеся глаза, сердито замахивался непрочищенным сапогом.

Григорий Лукич не сердился...

Семочка стоит на дороге, поднимается в гору. А Семочкины эполеты с тремя звездочками, Семочкин денщик, называющий его вашим благородием,— действовали на Григория Лукича сильно. Совершенно не жалел денег, которые сорил капризный, испорченный Семочка. Все это оправдывалось молодостью, игрушечной шашкой, золотыми погонами. Часто думал: сам он по-стариковски будет орудовать здесь, в степи, распоряжаясь мужицкими душами, а Семочка — в городе, среди генералов с полковниками, распоряжаясь солдатскими душами. Это было заманчиво, увлекательно, старый человек чувствовал себя властным, неограниченным королем. Только одно пугало: не убили бы Семочку... Не угнали бы на войну...

Говорил:

— Крепко сидишь у начальника?

— А что?

— Так, ничего... Если не крепко, можно укрепить... Я не пожалею.

Прожил Семочка в Аксенове недолго. Сходил два раза в церковь, постукивая светлыми начищенными шпорами, поскучал, поморщился за длинной обедней. Убил от нечего делать двух собак, ворону, нескольких голубей охотничьей дробью, проиграл на вечере у Полозовых две тысячи рублей, разбил несколько чайных стаканов, оп-

рокинул несколько столов в железнодорожном буфете — отправился в город...

Утром у крыльца стояла поданная тройка в погремушках. Сережка-денщик укладывал чемоданы, узелки, корзиночки. Около троечных саией, в хозяйском тулупе, расхаживал кучер Степан, похлопывая рукавицами. В комиатах кружилась Акулина Семеновна, укладывая зажаренных индюков. Григорий Лукич говорил иа прощанье:

— Может быть, сено нужно на войско? Скажи там... я поставлю.

А когда прозябшая застоявшаяся тройка стремнтельно подхватила широкие дорожные сани, задымила по узкой аксеновской улице, отгоняя прохожих с дороги, Григорий Лукич посмотрел в последний раз на согнувшегося на козлах Сережку в жиденькой негреющей шинелишке, — чуть-чуть рассмеялся.

— Ну, этому достанется... парню-то!..

В дому стало пусто. Дел не было. Степь лежала под снегом. Отдохнувшие за зиму быки лениво бродилн по хуторским сараям. Работала одна мельиица. Григорий Лукич, дожидаясь весны, ездил только на мельницу. После поездки ложился на отдых. Подводил итоги. Пощелкивая на счетах, рылся в записях, отыскивал неоплачеиные мужнками долги. Накидывал, иаверстывал, сидел за столом со спущеиными иа иос очками.

В один из такнх вечеров со станции привезли телеграмму.

Григорий Лукич развериул ее спокойно. Когда пробежал глазами первую строчку, — крепко стоявшие ноги вдруг поскользиулись, поехалн. Не в силах держать отяжелевшее тело, грузно присел на диваи под чехлом...

— Что ты? — спросила Акулина Семеновиа.

Григорий Лукич потыкал в телеграмму пляшущим пальцем, бессмысленно огляделся вокруг оробевшими глазами.

— Убит!

— Кто?

— Сын... Семен... Революция!..

Через час в дому сидела привезенная фельдшерица. Акулина Семеновна, пораженная горем, лежала в постели иеподвижная, парализоваииая, с наглухо закрытыми глазами. Перед иконой горела лампадка. В зале, ос-

вещенная лунным светом, поблескивала широкая граммофонная труба. По выкрашенному полу незаметно двигались лунные полосы. Мягко, вкрадчиво постукивал маятник у новых часов.

Григорий Лукич ходил по дому в валеных сапогах с высокими голенищами. Подолгу сидел у стола, посматривая на брошенную развернутую телеграмму. Лицо незаметно осунулось. Глаза потемнели, брови срослись.

— Неужто конец?

Испуганно хватался за сердце... Хотелось живых, возбуждающих голосов, шумных деловых разговоров. В дому было тихо.

В два часа ночи подали лошадей для фельдшерицы. Григорий Лукич что-то сунул ей в руку, что-то сказал — не помнит. Не видел, как вышла с закутанной головой. Когда повернулись сани, под окнами фыркнула пристяжная, откидывая голову; он уцепился за живой оторвавшийся звук, мысли в голове побежали неизвестно куда...

На заре немножко соснул. Сидел на диване, повесив длинную перепутанную бороду, легонько похрапывал. По комнатам стояла тишина. Только в углу, озаряя иконы в богатых окладах, мерцающим светом горела лампадка, зажженная с вечера. Нагоревший фитиль легонько коптил, потрескивал. Открыв глаза, Григорий Лукич на минуточку остановился на слабом мерцающем огоньке, освещающем угол, и ему показалось, что он умер, лежит в темном глубоком гробу. Еще немного, и его поднимут, спустят в глубокую яму.

Было жутко чувствовать свое неподвижное тело, попробовал двинуть ногой. Нога была мертвая. Попробовал повернуться — тело не слушалось.

— Смерть!

Испуганно вскрикнул.

Выглянула старуха в черном платочке. Посмотрели друг на друга горькими непонимающими глазами — снова по комнатам тишина.

Рано утром Григорий Лукич зашел к Акулине Семеновне. Постоял над ней, заглядывая в плотно закрытые глаза, подумал, вышел обратно. Через полчаса рабочая лошадь в старых, обшитых рогожей санишках везла его на станцию. Трудно было узнать крупного степного хозяина. Вместо прежнего великана, откинувшего голову, в санишках сидел смирный согнувшийся старик в старой

потертой бекешке. Не гремели погремушки под дугой, не летели снежные комья из-под копыт пристяжной. Рабочий мерин-водовоз бежал не спеша, похлопывая оторвавшейся подковой. Кучер Степан, привыкший вытягивать руки на козлах, сидел теперь рядом с хозяином по правую сторону, попускивал на него сизой махоркой.

На станции Григорий Лукич сидел в уголке, словно беженец, с узелком в руках. Ходил мелкими спотыкающимися шагами, на людей посматривал издали, сбоку. Прислушивался, вглядывался, читал объявления на дверях, в каждой строчке отыскивал страшного врага — революцию...

Люди, захлестнутые новым, сильно раздували ноздри, бегали, переспрашивали, рассказывали. Из спутанных приподнятых разговоров навертывался огромный клубок...

Григорий Лукич поманил согнутым пальцем начальника станции в красной запрокинутой фуражке. Раньше начальник улыбался, играя глазами, теперь подошел неохотно. Повертел правым каблуком, протирая ямку на снегу, помахал рассеянно бумажкой.

— Н-да-а!..

— Значит, факт?

В вагоне было тесно. Куда ни смотрел Григорий Лукич, к кому ни прислушивался, везде видел жадные, любопытные глаза, слышал прыгающие, возбужденные голоса...

— Радуются!..

Его толкали, двигали, никто не обращал вниманья на властного степного хозяина. На первом разъезде втерся какой-то мужичонка в худом подпоясанном полушубке. Отыскивая место, сказал:

— Ну-ка, подвинься, дядек!

Раньше бы Григорий Лукич показал, какой он дядек, теперь было не до этого. Силился что-то понять — и не мог... Силился что-то уместить в голове, — голова не умещала слышанного... Минутами казалось, что все это — сон: и мужики, толкающие его в тесноте, и смелые разговоры, хлещущие по ушам, и острые опьяненные взгляды, не замечающие большого человека. Сидел Григорий Лукич, точно сирота, потерявший родителей, думал:

«Не может быть... Это времеино... Это должио пройти...»

Перед глазами вдруг появлялся убитый, раздавлениый Семочка с золотыми погоиами, тоненькая переломленная шашка, сорванная солдатской рукой, маленькие окровавленные усики...

Сразу было три горя, и Григорий Лукич ие знал, которое из них давит сильнее: сын ли Семочка, Акулииа ли Семеновна, пораженная страшным известием, или вся эта революция, влетевшая в прочную, налаженную жизнь...

В городе попал в целое море красных флагов, в море криков, голосов, пения, музыки. Не в силах идти против течения, проплыл, подхваченный волной, иесколько улиц, как маленькая послушная пушинка...

Когда остаиовилось шествие, кто-то кричал, выиырпвая из толпы:

— Товарищи!..

В ответ размахивали шапками, вскидывали руки. Гремел оркестр духовой музыки. Торопливо бежали солдаты с красиыми повязками на руках. По бокам гарцевали верховые, раздвигая толпу. Позади тащились гариизоиные пушки. Громко стучал барабан.

— Конец!

Пробыл в городе недолго. Похоронил убитого Семочку, проспал, не раздеваясь, три иочи в меблированных комиатах, побывал у знакомого купца Королева. Королев сказал:

— Ждать надо... Там обозначится...

Григорий Лукич решил ждать. Болело сердце. Жалко было Семочку, Семочкины погоны с тремя звездочками, но к этой жалости примешивалось что-то другое. И это другое ставило в узеиький замкнутый круг, из которого ие было выхода, а хотелось шириться, расти, подииматься... Он мог пережить и потерю сыиа, и потерю жеиы. Мог остаться один, упрямо проводя свою борозду, но выпустить из рук хозяйские вожжи, уступить свое место другим — этого Григорий Лукич не в состояиии был сделать... Это было хуже смерти... А оио, страшное, вырывающее вожжи из рук, подходило все ближе и ближе...

На четвертый день, захватив дочерей-гимназисток, ехал обратно в Аксеново. В вагоне его уже называли товарищем. Он тоже кого-то называл товарищами, но не сердился, не вспыхивал. Погруженный в раздумье, сидел, опустив голову.

На станции, около зажженного фонаря, стоял пристав Рачков с длинными повисшими усами, в стареньком распущенном малахае, совершенно непохожий на пристава, топающего ногами, — в старенькой мужицкой поддевке, без кокарды на лбу...

— Осип Иваныч!

Осип Иваныч погрозил указательным пальцем. Подержал, потряс теплую протянутую руку, торопливо шепнул:

— Бегу... Понимаете?.. Бунт...

Лошадей на станции не было.

Григорий Лукич выходил за вокзал, пристально смотрел на узкую степную дорогу, спрятанную в темноте наступившего вечера. Волновался. Лошадей не было. Прискакали они поздно. Кучер Степан рассказал про Тихона, потерявшего последнюю душу. Теперь он — главарь. Пока Григорий Лукич ездил на похороны в город, он ежедневно стаскивал мужиков в одну кучу, раздувал, разжигал их разговорами о быках, о косилках, о запертых амбарах, насыпанных хлебом, и с руганью, чуть ли не со слезами упрашивал «рассчитаться» с хозяином...

В темноте навстречу проскакал верховой. Неожиданно из-под горки выскочили санишки с двумя мужиками, ударили по ногам гусевую, сцепились, уперлись. Кто-то из двоих выругался, свистнул, замахнулся кнутом...

Свист и ругань разбудили Григория Лукича. Поднялась степная упрямая воля. Выхватил у Степана левую вожжу от гусевой, дернул, ударил. Раздувая помолодевшими ноздрями, крепко стиснул чуть-чуть перекушенные губы. Пара лошадей опрокинула мужичьи санишки, взмыла, как будто совсем оторвалась от земли, понесла, не разбирая дороги.

В стороне, левее Аксенова, высунув длинный косматый язык, горел Орлянский хутор. Григорию Лукичу было душно в старой овчинной бекешке. Хотелось сбро-

сить, разорвать, остаться в одном пиджаке, чтобы не задохнуться. То опрокидывался головой назад, закрывая глаза, то, вытянув шею, наклонялся вперед, не зная, за что ухватиться. Видел, как, охваченный пламенем, пылает и его собственный дом под железной крышей. Разбегаются выпущенные хуторские быки-плугари из раскрытых ворот. Рушится прочное хозяйское гнездо, на котором сидел много лет. Проходили солдаты. Целые отряды солдат. Щелкали ружья, свистали нагайки. Носились урядники, стражники, офицеры, чем-то похожие на Семочку с золотыми погонами. Окруженные ими, мужики падали, становились на колени. Некоторых Григорий Лукич прощал, на некоторых показывал пальцем:

— Вот!

А потом и солдаты опрокидывались. Оставались одни мужики. Не было уже ни Григория Лукича в суконной бекешке, ни степных хуторов с хуторочками, ни огромных амбаров, насыпанных хлебом. Только мужики! Шли отнятой степью, говорили:

— Мы хозяева! Наша земля... Наши и хутора с амбарами...

Дома на широкой кровати лежала Акулина Семеновна, беспомощно шевелила губами. Над ней стоял о. Анатолий с развернутым требником, провожал в дальнюю загробную дорогу.

Свалился и Григорий Лукич. Отнялась сначала одна нога, потом — другая. Лежал он в недостроенном дому, как старое подрубленное дерево. Борода стала длиннее, острые деловые глаза завалились, потухли. Кожа на лбу обмякла, собралась морщинами. Лежал Григорий Лукич молча, обезвреженный, никому не страшный. Стояли сразу две жизни: старая, в которой прожил шестьдесят четыре года, поглощенный заботами, и новая, вырвавшая вожжи из рук. Минутами казалось, что новая жизнь не пойдет без него, остановится, кто-нибудь скажет:

— Вот вам! Без Григория-то Лукича не выходит...

Попадали последние сосульки с крыш, обозначились степные проселки. Первой щетиной покрылись пригорки. Мужики хватили вешнего воздуха, напоенного солнцем. Постукивая колесами, потащили из Аксенова бороны, плуги — распахивать побежденную степь. Глаза у Гри-

гория Лукича завалились еще глубже. Поднялся с трудом на постели, посмотрел на парализованные ноги, горько поставил над собой длинный некрашеный крест. В сердце словно закурился дымок. Зеленая степь с хуторами уходила от него, а он, выброшенный, уходил от нее, и в этом провале, разделяющем их, было страшно, темно и уныло...

Старый степной хозяин не видел, как светило весеннее солнце, не слышал, как покрикивали мужики, взрезывая ядреную черноземную степь. Сидел на постели, оттопырив побелевшую бороду, думал:

«Конец!»

1922

ПО-НОВОМУ

1

Мирои проснулся раио. В щели плетия иад сараем смотрело туманиое утро, тело зябко прохватывало холодком. Рядом с телегой лежала корова, отдуваясь иоздрями. В темиоте под крышей соиио разговаривали куры.

Вышел Мирон со двора, посмотрел из-под ладоии иа улицу. Прислушался к редкому скрипу ворот. Перекииул уздечку через плечо, торопливо пошел иа выгои за лошадью. Через полчаса ехал иа малеиькой острозадой кобыле, по-ребячьи болтая босыми иогами. Лошадь, выкидывая задиие иоги, брала иа скачок, пробовала рысью. Фыркала, спотыкалась, трясла головой. Хвост и грива, положеииая на обе стороны, были забиты репьями. Редкая свалявшаяся челка иа лбу, тоже в репьях, походила иа огромиый букет, хлопающий по глазам. Мирои, подпрыгивая, взмахивал руками. Навстречу попадались бабы, выгоиявшие коров. Кашляя, шли овцы, звоико кричали ягията. Пересекая дорогу им, вылетали собаки, хватали лошадь за хвост. Овцы шарахались в стороиы, бабы ругались. Мирои улыбался веселой улыбкой.

— Прискакал? — спросил подошедший шабёр.

— Прискакал.

— Что больио раио?

— Так уж, эдак.

Пустил лошадь к колоде, сбегал к Ивану, живущему через восемь дворов. Загляиул к Игнату, постучал в окио к Шалферову. С Тереиьковым встретился в переулке. Шел Тереиьков с гумиа, тащил прошлогодней мякины в лукошке.

— Зиачит, едем? — спросил Мирон.

— А что?

— Так, иичего.

— Что бегаешь?

— Не сидится. Зуд во мне пошел.

Дома долго кружился около телеги, щупал прогнившие лубки, осматривал колеса. Дружески разговаривал с лошадью, хлопающей губами в колоде.

— Вот и на нашей улице праздник. Теперь и мы поживем. Чуешь?

В избе шебутилась жена. Мирон ей сказал:

— Моложе я стал лет на пятнадцать.

— Что это?

— Больно уже хорошо. Дух радоватся. И тебе легче будет там, ты не сумлевайся.

— Дай бог!

Мирон поднял палец.

— Постой! На бога шибко не надейся — это старая штука. Мы хотим по-новому, без всякнх чудес.

— Как же без бога-то?

— У нас другой будет. Вот здесь!

Мирон показал на грудь.

— Этому не надо ни попов, ни кадилов.

2

Жил он на птичьих правах в двухоконной избе. Осенью ее проливало дождями, зимой продувало ветрами, заносило сугробами. Сидел Мирон с ребятишками, как хорек в норе, выглядывая в подмороженные окна. Мужик он здоровый, выносливый, и прозвали его за эту выносливость быком. Но как ни упирался, как ни натужился, чтобы вытащить себя из нужды,— не вытащил.

Когда потребовались здоровые мужики бить немецких и австрийских мужиков, Мирона взяли на войну. Много он их перебил: и пулями, и штыком, и прикладом. Поднятый среди ночи, озлобленно стискивал прозябшие губы. Озверевший от холода, грязи, от невыносимой обиды, таящейся в сердце, с ревом бросался вперед, кубарем падал в окопы, исцарапанный висел на колючей проволоке, запутавшись ногами. Без милости, без милосердия разбивал прикладом головы немецких, австрийских солдат.

За что — этого не знал, а подумать, поговорить об этом некогда было, не с кем. Вокруг толкались такие же озлобленные мужики, согнанные из разных деревень. Одно надоевшее слово слышали все:

— Враги!

Перед каждой битвой на составленных козлами ружьях горели тоненькие свечи, сизыми кольцами вился кадильный дымок. Пухлые поповские руки поднимали над склонившимися головами маленькое, освещенное солнцем распятье. Под ним, холодея, сжималось испуганное сердце. Маленькое распятье, благословляющее трупы убитых, давило камнем. Мысли путались. Мирон снова шел, одурманенный зельем. Снова ревел по-звериному, догоняя немецких, австрийских солдат. Снова ложился под грязную окровавленную шинелишку до первой тревоги.

На четвертый год положили в лазарет. Пока лежал, стал думать. Увидел настоящих врагов, посылавших на немецких, австрийских солдат. Трехлетняя война дала гниющую рану в спине да бронзовую медаль «За отличие». Разглядывая награду, Мирон обиженно крутил головой.

— Эх, дурак, дурак! Отличился.

Избенка дома встретила худыми разбитыми окнами, упавшим карнизом. По двору бродила все та же кобыла с отвислой губой и старая надоевшая нужда с разинутым ртом. Не успел Мирон оглядеться, со всех сторон окружили старые непримиримые враги: волчья несытая злоба, щелкающая зубами, бессмысленная мужицкая жадность, мешающая жить. Купеческие участки расклевывались хозяйственными мужиками. Беднякам и калекам приходилось собачиться, тащиться в хвосте. Чувствовал Мирон: как сидел на дне, так и опять будет сидеть. Поставить себя на ноги не сумеет один.

На помощь пришел Тереньков из плена, принес ободряющие мысли. Взвесили они с Мироном на весах в голове у себя, начали собирать других.

— Товарищи, в одиночку наше дело не пойдет. Гляди, какие мы: кто без руки, кто без ноги. Руки есть — лошади нет. Лошадь есть — телеги нет. Правда?

— Правда.

— Вот и давайте по-другому.

Тут Тереньков произнес неслыханное слово «коммуна». Покатилось оно по улицам, как сказочный колобок.

— Обиженных в ней никого не будет. Нам не капиталы копить и не людей давить. Ты обопрешься на меня, я обопрусь на тебя. Так и пойдет кучкой.

Мирон оказался главной пружиной. Около него дружно заработало несколько человек. Мужикам на собранье объявили:

— Лизарихин участок мы берем под коммуну. Кто хочет пойти с нами, милости просим.

Филипп Карташев выступил с насмешкой:

— Кто это — мы?

— Вставай, которые с нами.

Поднялись: Мирон, Иван Быстренький, Кондрат Сухоедов, Шалферов, Лизунков, Гришины два брата.

— Вот кто! Гляди, если не видал.

3

Денек разыгрался хороший. Небо синее, ведряное. Когда над гумнами поднялось утреннее солнышко, Мирон вывел с двора кобылу, запряженную в телегу. Держа в руках длинные мешающие концы вожжей, тронулся по порядку. С левой оглобли Иван пристегнул своего меринишку, шумно фыркающего мокрыми ноздрями. Хвост ему закрутил, словно собирался на свадьбу. Похлопывая по спине пару отощавших коней, сказал:

— И-эх вы, буржуйчики!

Оба с Мироном смеялись.

По улице тронулся маленький поезд, гремя привязанными сзади плужками. Впереди ехал Шалферов на костлявом мерине, запряженном в рыдван. Позади на телегах сидели бабы, девчонки в белых платках. Мужики шли по бокам шумными говорливыми кучками.

На деревне смеялись.

— Гляньте-ка скорее, коммунисты поехали.

Вслед им кричали:

— Тронулись? На новую землю?

— Выдумщики!

Овчинников-старик смотрел со своей завалинки, как гриб из-под нахлобученной шапки, недоумевающе качал старой опорожненной головой:

— Цыгане, что ли, поехали?

Мирон волновался, как маленький. Солнышко светило хорошо, приветливо. Под согревающим теплом росли новые мысли. Виделась впереди обновленная жизнь, построенная общим трудом и любовью. Виделось широкое вольное поле, выращенное общими руками на об-

щую пользу. Смотрел Мирон вокруг светлыми, заигравшими глазами, думал:

«Хорошо!..»

4

Лизарихин хутор стоял на горе. Окружали его старые многолетние липы. Вверх по косогору шли неподнятые залежи, упирающиеся в посевы. Под горой в котловине блестело широкое озеро с отлогими берегами. Около деревянных мостков, посаженных в озеро, стояла спущенная лодка, наполовину залитая водой. Плавало старое разбитое колесо, торчала худая квашёнка, опрокинутая набок.

Низкий дом с шестью окнами на солнечной стороне поглядывал в далекий синеющий горизонт, упавший на темно-зеленое поле. Пусто, просторно в дому. Закупоренный воздух попахивал гнилью. Штукатурка на стенах осыпалась, пауки развесили паутины. Чопорно стояли мягкие стулья с обшитыми сиденьями. Тускло поблескивало пианино с поднятой крышкой, покрытой налетами пыли.

Мирон дотронулся до клавишей. По комнатам со слепыми закрытыми окнами беспорядочно запрыгали звуки.

— Ого! Заговорила!

— Это она с нами ругается — зачем пришли сюда.

— Пущай ее ругается.

Быстренький удивлялся, разглядывая изразцы.

— Жили-то как? Барами!

— Вот тебе и Лизариха! Будя.

— Кабы не вернулась, каянная!

— Вернется на том свете.

Тереньков осматривал комнаты.

— Здесь будем собранья устраивать.

Пошли по двору всей артелью, расценили постройки, распределили работу. Шестеро отправились на участок с плугами, бабы с девчонками подоткнули сарафаны. До полудня выметали пыль, мыли полы, расставляли уцелевшую мебель. Кондрат с Лизунковым постукивали топорами во дворе. Паранька, Кондратова дочь, готовила первый обед на Лизарихиной кухне с чугунной плитой. Санька Лизункова носила воду с колодца, чистила картошку.

Мирон работал на участке. Вошло в него молодое, распустившее крылья, несло, поднимало. Когда увидел дымок, плавающий над хутором, весело прикрикнул на лошадей, пролагающих общую товарищескую борозду:

— И-эй, потягивай!

Обедали на маленькой террасе, выходящей на озеро, за общим артельным столом. Громко постукивали ложками, шутили.

— Здравствуй, Лизарьевна!

— За наша здоровьичка!

Выйдя из-за стола, Мирон посмотрел на широкие раскинутые поля, изрезанные перелесками, долго стоял неподвижно. Обернулся к товарищам. Посмотрел на улыбающихся баб с девчонками, на Михалева, выставившего деревянную ногу, взволнованно сказал:

— Идет, товарищи, вижу!

— Кто?

— Жизнь другая! Трудно языком сказать, не могу. Держаться надо за нее, не выпускать.

Тереньков говорил:

— Учиться надо, вслепую не стоит. Фонарь зажечь в голове. Без огня далеко не уйдем.

Кондрат удивлялся:

— Как во сне! И не верится, что это мы с Гараськой.

Мирон возбужденно вытягивал шею, собираясь сказать ненайденное слово. Радостно окидывал глазами собравшихся, улыбался широкой улыбкой вместе с солнышком, которое улыбалось мужикам с голубого весеннего неба.

1920

МАРЬЯ-БОЛЬШЕВИЧКА

1

Была такая у нас. Высокая, полногрудая, бровн дугой поднимаются — черные! А муж у нее с наперсток. Козонком зовем его. Так, плюгавенькнй — шапкой закроешь. Сердитый — не дай господи. Развоюется с Марьей, стучнт по столу, словно кузнец молотком.

— Убью! Душу выну...

А Марья хнтрая... Начнет величать его нарочно, будто нспугалась.

— Прокофнй Мнтрнч! Да что ты?

— Башку оторву!

Она еще ласковее:

— Кашу я нынче варнла. Хочешь?

Наложнт блюдо до краев, маслица поверху пустнт, звездочек масленых наделает. Стоит с поклоном, угощает по-свадебному.

— Кушай, Прокофнй Митрнч, виновата я перед тобой...

Любо ему — баба ухажнвает, нос кверху дерет, снлу большую чует.

— Не хочу!

Марья опять, как горннчная: воды подает, кнсет с табаком нщет. Разуется он посреди нзбы — лапти она уберет ему, чулкн в печурку сунет. Ночью на руку положит его, по волосам погладит н на ухо помурлычет, как кошка... Ущнпнет Козонок ее, она улыбается.

— Что ты, Прокофнй Мнтрнч! Чай, больно...

— Беда — больно... раздавил...

И еще ущнпнет: дескать, муж, не чужой мужнк. Натешнт сердце он, тут она начннает его:

— Эх ты, Козон, Козон! Плюсну вот два раза — н не будет тебя... Ты думаешь, деревянная я? Не обндно терпеть от такого грнба?..

Раньше меньше показывала характер, больше в себе носила домашние неприятности. А как появились большевики со свободой да начали бабам су́соли разводить, что вы, мол, теперь равного положения с мужиками, тут и Марья раскрыла глаза. Чуть, бывало, оратор какой — бежит на собранье. Вроде стыд потеряла. Подошла раз к оратору и глазами играет, как девка.

— Идемте, товарищ оратор, чай к нам пить!

Козонок, конечно, тут же стоял, в лице изменился. Глаза потемнели у него, ноздри пузырями дуются. Ну, думаем, хватит он ее прямо на митинге. Все-таки вытерпел. Подошел бочком, говорит:

— Домой айда!

А она, нарочно, что ли... Встала на ораторово место, да с речью к нам:

— Товарищи крестьяне!

Мы так и покатились со смеху. Тут уж и Козонок вышел из себя.

— Товарищ оратор, ссуньте ее, черта!

Дома с кулаками на нее налетел.

— Душу выну!

А Марья поддразнивает:

— Кто это шумит у нас, Прокофий Митрич? Страшно, а не боязно...

— Подол отрублю, если будешь по собраньям таскаться!

— Топор не возьмет.

Разгорелся Козонок, ищет — ударить чем.

Марья с угрозой к нему:

— Тронь только: все горшки перебью о твою Козонячью голову...

С этого и началось. Козонок свою власть показывает, Марья — свою. Козонок лежит на кровати, Марья — на печке. Козонок к ней, а она — от него.

— Нет, миленький, нынче не прежняя пора. Заговенье пришло вашему брату...

— Иди ко мне!

— Не пойду!

Попрыгает, попрыгает Козонок, да с тем и ляжет под холодное одеяло. Раз до того дело дошло — смех! Ребятишек она перестала родить. Родила двоих — схоро-

нила. Козонок третьего ждет, Марья заартачилась. Мне, говорит, надоела эта игрушка...

— Какая игрушка?

— Эдакая... Ты ни разу не родил?

— Чай, я — не баба!

— Ну, и я не корова, телят таскать тебе каждый год. Вздумаю когда — рожу...

Козонок на дыбы.

— Башку оторву, если будешь такие слова говорить!..

Марья тоже не сдает:

— Я,— говорит,— бесплодная стала...

— Как бесплодная?

— Кровя́ во мне присохли... Будешь неволить — уйду.

В тупик загнала мужика. Бывало, шутит он, по шабрам ходит, после этого — никуда. Ляжет на печку и лежит, как вдовец. Побить хорошенько — уйдет. Этого мало, на суд потащит, а большевики обязательно засудят; у них уж мода такая — с бабами нянчиться. Волю дать вовсю — от людей стыдно, скажут — характера нет, испугался. Два раза к ворожейке ходил — ничего не берет! Начала Марья газеты с книжками таскать из союзного клуба. Развернет целую скатерть на столе и сидит, словно учительница какая, губами шевелит. Вслух не читает. Козонок, конечно, помалкивает. Ладно, читай, только из дому не бегай. Иногда нарочно пошутит над ней:

— Телеграмму-то вверх ногами держишь... Чтица!

Марья внимания не обращает. А книжки да газеты, известно, засасывают человека, другим он делается, на себя непохожим. Марья тоже дошла до этой точки. Уставится в окно, глядит. Мне, говорит, скушно...

— Чего же ты хочешь?

— Хочу чего-то... не здешнего... По-другому пожить.

Казнится-казнится Козонок, не вытерпит.

— Эх, и дам я тебе, чертова твоя голова! Ты не выдумывай!..

А она, и вправду, начала немножко заговариваться. В мужицкое дело полезла. Собрания у нас, и она торчит. Мужики стали сердиться.

— Марья, щи вари!

Куда там. Только глазами поводит. Выдумала какойто женотдел. И слова такого никогда не слыхали мы — нерусское, что ли? Глядим, одна баба пристала, другая

баба пристала. Что за черт! В избе у Козонка курсы открылись. Соберутся и начнут трещать. Комиссар из совета начал похаживать к ним. Наш он, сельский. Васькой звали допрежде, перешел к большевикам — Васильем Иванычем сделался. Тут уж совсем присмирел Козонок. Скажет слово, а на него в десять голосов:

— Ну-ну-ну, помалкивай!

Комиссар, конечно, бабью руку держит — программа у него такая. Нынче, говорит, Прокофий Митрич, нельзя на женщину кричать — революция... А он только ухмыляется, как дурачок. Сердцем готов надвое разорвать всю эту революцию, но — боязно: неприятности могут выйти. А Марья все больше да больше озорничает. Я, говорит, хочу совсем перейти в большевицкую партию. Начал Козонок стыдить ее. Как, говорит, тебе не стыдно? Неужели, говорит, у тебя совести нет? Все равно, не потерпит тебе господь за такое поведение.

Марья только пофыркивает.

— Бо-ог? Какой бог? Откуда ты выдумал!

Прямо сумасшедшая стала. С комиссаром не стесняется. Он ей книжки большевистские подтаскивает, мысли путает в голове, а она только румянится от хорошего удовольствия. Сидят раз за столом, плечико к плечику, думают — одни в избе, а Козонок под кроватью спрятался: ревность стала мучить его. Спустил дерюгу до полу и сидит, как хорек в норе. Вот комиссар и говорит:

— Муж у вас очень невидный, товарищ Гришагина. Как вы только живете с ним — не понимаю!

Марья смеется.

— Я не живу с ним четыре месяца... Одна оболочка у нас.

Он ее за руки.

— Да не может быть? Я этому никогда не поверю...

А сам все в глаза заглядывает, поближе к ней жмется. Обнял повыше поясницы, держит. Я, говорит, вам сильно сочувствую...

Слушает Козонок под кроватью и вроде дурного сделался. Топор хотел взять, чтобы срубить обоих,— побоялся. Высунул голову из-под дерюги, глядит, а они над ним же насмех: мы, говорит, знали, что ты под дерюгой сидишь...

3

Стали мы совет перебирать. Баб налетело, словно на ярмарку. Мы это шумим, толкуем; слышим, Марьино имя кричат.

— Марью! Марью Гришагину!

Кто-то и скажи из нас нарочно:

— Просим!

Думали, в шутку выходит, хвать — и всерьез дело пошло. Бабы, как галки, клюют мужиков: вдовы разные, солдатки — целая куча. А народ у нас не охотник на должности становиться, особенно в нынешнее время,— взяли и махнули рукой: Марья, так Марья. Пускай обожгется...

Стали Марьины голоса считать — двести пятнадцать! Комиссар, Василий Иваныч, речью поздравляет ее. Ну, говорит, Марья Федоровна, вы у нас первая женщина в Совете крестьянских депутатов. Послужите. Я, говорит, поздравляю вас с этим званием от имени Советской Республики, надеюсь, что вы будете держать интересы рабочего пролетариата.

Глаза у Марьи большие стали, щеки румянцем покрылись. Не улыбнется — стоит.

— Я послужу, товарищи. Не обессудьте, если не сумею — помогите.

Козонок в это время сильно расстроился. Главное, непонятно ему: смеются над ним или почет оказывают. Пришел домой, думает: «Как теперь говорить с ней? Должностное лицо». Нам тоже чудно. Игра какая-то происходит. Баба и вдруг — в волостном совете, дела наши будет решать... Ругаться начали мы между себя:

— Дураки! Разве можно бабу сажать на такую должность...

Дедушка Назаров так прямо и сказал Марье в глаза:

— Ой, Марья, не в те ворота пошла.

Она только головой мотнула:

— Меня мир выбрал — не сама иду.

4

Приходим в совет поглядеть на нее — не узнаешь. Стол поставила, чернильницу. Два карандаша положила — синий и красный. Около — секретарь с бумагами

строчится. А она и голос другой сделала. Так и ширяет глазами по строчкам.

— Это по продовольственному вопросу, товарищ Еремеев?

Разведет фамилию на бумаге и опять, как начальник какой:

— Списки готовы у вас? Поскорее кончайте!

Глазам не верим мы. Вот тебе Марья! Хоть бы покраснела разок... Так и кроет нас всех «товарищами». Пришел раз Климов, старик, она и ему такое же слово:

— Что угодно, товарищ?

А он терпеть не мог этого слова — лучше на мозоль наступи. Хотя, говорит, ты и волостной член, ну, я тебе не товарищ... Да разве смутишь ее этим? Через месяц стала шапку с пикой носить, рубашку мужицкую надела, на шапку звезду приколола. Мучился-мучился Козонок, начал разводу просить у нее.

— Ослобони меня от эдакой жизни... Я не могу... Другую женщину буду искать — подходящую.

Марья рукой махнула.

— Пожалуйста, я давно согласна.

Месяцев пять служила она у нас — надоедать начала: очень уж большевистскую руку держала, да и бабы начали заражаться от нее: та фыркнет, другая фыркнет, две совсем ушли от мужьев. Думали, не избавимся никак от такой головушки, да история маленькая случилась: нападение сделали казаки. Села Марья в телегу с большевиками, уехала. Куда — не могу сказать. Видели будто в другом селе, а можа, не она была — другая, похожая. Много теперь развелось их.

1921

ПОЛЬКА-МАЗУРКА

1

На станции Гурьяну попалась бабенка: тоненькая, остроносая, ноги на высоких каблуках. Идет, будто на ходулях, и все подрыгивает, из стороны в сторону покачивается. Поглядела на Гурьяна круглыми воробьиными глазами — сразу и пришпилила на все четыре кнопки. С места сдвинуться не может Гурьян. Глядит ей в веселый, играющий зад, обтянутый узенькой юбкой, слова в нутро провалились. А она, шишига, опять мимо прошла, опять задела Гурьяна круглыми воробьиными глазами.

— Вы, товарищ, не из деревни будете?

Покосился Гурьян, оттопыривая губу, лицо сделал будто сердитым.

— Ну, и что же такое?

— Может, довезете меня?

— С багажом или порожняя?

— Багаж у меня незначительный.

— Т-а-а-ак!

Больше и сказать не сумел Гурьян. Врезалась бабенка в самое сердце — сразу бы проглотил вместе с ботинками на высоких каблучках. Очень уж сложеньем увлекательная. Говорит, сама зубы показывает, нарочно подкашливает, отряхивается, волосья на голове поправляет. Как не посадишь такую пичужку?

— Ладно, довезу. Сколько заплатишь?

— А вы сколько намерены взять?

— Больше давайте, годится.

Она улыбается.

— Какой вы неуважительный, товарищ! Женщину нужно бесплатно довезти.

Растопырил ноги Гурьян, думает: «Чего получится, если на самом деле дарма посадить?»

Поглядел в глаза воробьиные, неожиданно сказал:

— До какого села?

— До Романова.

— Романово за нами пятнадцать верст!

— Там пешком дойду, если попутчика ие найдется...

— По какому делу туда?

— Мама живет, повидаться хочу...

Завлек Гурьяиа голосишка бабий, иголкой тоиенькой пролез в иутро, и глаза воробьиные заволокли хозяйские мысли.

— Чего с тобой делать? Садись!

Тащит бабеика суидучок, гнется под иим, иогами семеиит, юбкой узеиькой разные буквы пишет между колеиками.

— Ох, товарищ, помогите иа мииуточку!

Вскииул Гурьяи сундучок воробышком на плечо, улыбается.

— Чего еще там у тебя? Давай в эту руку!

— Какой вы сильиый!

— А что?

— Я не подииму.

— Слабый вы иарод из городов — кишкой тонки!

— Как?

— Шучу. Двадцать фуитов всурьез прииимаете...

С этого и иачалась Гурьяиова тоска. Уставил суидучок в телегу, пологом иакрыл, чтобы пыль ие приставала. Вытащил чапан из-под соломы, расстелил, будто жеие-молодушке, ласково приговаривает:

— Наверио, мягко любите сидеть — ие иаш брат!

— Ничего подобиого, я к этому ие избаловаиа, сама из крестьяиского происхождеиья.

— Все-таки другая сословья у вас!

— Ну, скажете! Если костюм иа мие городской, иыиче и в деревиях такая мода пошла. Вообще иа это ие иадо виимаиия обращать.

Ходит Гурьян вокруг лошади, дугу поправляет, поперешиик подтягивает. Почесал гриву у мерииа, в морду кулаком суиул, чтобы веселее держался, сам все думает: «Интересиая штука может получиться!»

Бабеика тоже охорашивается, гребешки в волосы втыкает, глазами косит, платочек белеиький иа два узелка завязывает.

— Вы, товарищ, курящий?

Выплесиул Гурьяи из левой иоздри, вытер пальцы о наклеску, крякиул:

— Хорошеиького можио.

— Пожалуйте вам папироску!

И сама дымок пустила через обе ноздри.

— Эге!

Совсем не хозяином стал Гурьян.

Вытянула бабенка ноги в ботинках, заняла всю телегу. А ботинки у нее, как у мужика, с голенищами до самых коленок, на голенищах пуговки в два ряда, тесемочкой перевязаны. Негде сесть Гурьяну! Рядом неловко. Хотел на наклеске устроиться, чтобы поглядеть, какая из этого шутка получится, а бабенка говорит:

— Вы, товарищ, напрасно там садитесь! Разве не хватит нам места двоим?

Проклятая! Гурьян ее посадил, она же Гурьяну командует. И ссунуть теперь у Гурьяна силы не хватит. Глядит он, словно в тумане, во всем теле озноб начинается. Зачем она рядом сажает? И ноги вытянула, будто на кровати. Кабы не случилось чего! Не вытерпит Гурьян и дотронется до этой ботинки. Любовь которая, она не разбирает, а у Гурьяна на любовь похоже. Вдовый он, к тому же революция нынче: понравился человек, и живи, сколько хочешь, невенчанным...

— Товарищ, чего вы стесняетесь?

Сел Гурьян бочком, пожимается. Одна нога в телеге, рядом с ботинкой, другая — через наклеску висит. Страшно обе ноги класть.

А бабенка зубы скалит:

— Товарищ, да вы, ей-богу, напрасно так садитесь! Давайте сюда эту ногу!

Не успел Гурьян и подумать хорошенько, что из этого может получиться, а она Гурьянову ногу теребит, горячих углей под сиденье подкладывает. Загорелась Гурьянова нога, вспыхнуло все тело. На второй версте Гурьян закружил вожжу на наклеску, бросил в ноги фуражку с подпотевшей головы.

— Вам жарко, товарищ?

— Народ вы больно необышный!

— Почему?

— К примеру, теперь и ботинки у вас в городах на сапоги похожи.

— Мода такая.

— Чудно!

Тронул Гурьян голенище подплясывающим пальцем, надавил пуговку на голенище покрепче, чувствуя, что

сейчас он провалится сквозь землю, и вдруг неестественно закричал:

— Сколько стоит такая штука?

Бабенка не рассердилась, только юбкой чуть-чуть пошевелила.

— Вы женатый?

— По какому случаю вам нужно знать?

— Разве секрет?

— Бывает иногда!

— Я вот не скрою, если незамужняя. Пожалуйста!

Глянул Гурьян сбоку на русую овечью кудерку, выпавшую из-под беленького платочка, сразу выпустил весь воздух, распирающий грудь.

— Вдовый!

— Почему не женитесь?

Ударил Гурьян мерина кнутовищем по костлявому заду, крякнул, распутал вожжу на наклеске, опять замотал. Окинул тревожными глазами поле, узенький проселок, по которому прыгала тележонка, увидал около своей ноги другую ногу в городском, подзывающем ботинке, неожиданно сказал:

— Я когда-то хорошо жил: две лошади было у меня, корова с подтелком, восемь овец и масла с яйцами невпроед. Чаю захочу, простого не пил: каждый раз с топленым молоком. И жена покойная не жаловалась на мой характер. У людей которых нет ничего, у нее — платье за платьем, потому что я не скупился на это. Умирала она, говорила мне: ты, говорит, Гурьян, не мучай себя: найди подходящую женщину и женись через сорок дней после моей смерти...

— Давно она умерла?

— Год скоро будет!

— И вы не женились?

— Тут, видишь какая штука! — задумчиво сказал Гурьян.— Три бабы находились для меня, ну я испорченный маленько стал: не нравится, да и на́ тебе! Одна, понимаешь, сама напрашивалась, в дом ходила, чтобы соблазнить, а я не хочу. Люблю, чтобы расположение было к этой женщине, обоюдное согласье...

Поглядела бабенка на Гурьяна круглыми воробьиными глазами, вздохнула и вдруг легла на спину.

— Какую вам женщину надо?

Гурьян отвернулся. Оглядел переднее колесо, свесив

голову через наклеску, плюнул, опять взглянул на вытянутые ноги.

— Тут сразу не скажешь!

— Почему?

— Точка выходит, сурьезная штука...

А бабенка подвинулась ближе.

— Вот не женитесь, и рубашка у вас нестираная. Разве вы старик?

— А ты откуда знаешь?

— Ну, какой старик! Это же по лицу видно. Поставь вас в хорошую жизнь, чтобы жена наблюдала по вашему характеру, тогда и не похожи будете на теперешнего человека.

Гурьяну стало душно.

Руки ослабли.

Мерин в оглоблях будто оторвался от земли, плыл по воздуху, уронив левое ухо, и сам Гурьян с нелепой улыбкой на губах будто растаял в синем играющем воздухе. Мельком увидел маленький, не бабий живот бугорком под ситцевым платьем, осторожно подумал: «Она, наверно, играет со мной!»

Выпрыгнула бабенка из телеги, весело крикнула:

— Назад не оглядывайся!

— Зачем?

— Не полагается вашему брату.

«Играет! — опять подумал Гурьян.— Сейчас дотронусь до нее, будто нечаянно...»

А бабенка сзади окликает:

— Товарищ, почему вы не остановите лошадь? Я же не догоню.

Повернул Гурьян голову назад, встретился с круглыми воробьиными глазами. Ударили они в Гурьяново сердце мелким играющим огоньком, будто два ружья мелкой охотничей дробью.

«Ну, конечно, играет!»

— Какой вы недогадливый, товарищ!

— Тпру! Седай скорее.

— Да я не влезу отсюда!

— Ах ты, мать честная!

Прыгнул Гурьян через наклеску, подхватил бабенку легким перышком, вскинул, стиснул.

— Ой!

Наступила тьма.

И в этой тьме посыпались искры разные, и в одну мииуту сгорел мерин с телегой, сундучок под пологом, тучки полевые, вся земля и все люди на земле. Осталась только бабеика в крепких пылающих руках. Посадил Гурьян иа телегу ее, гляиул в лицо дымными глазами, тихоиько сказал:

— Не бойся!

И еще говорил: о двух лошадях, о корове с подтелком, о том, что ему нужио жеииться, и иет никакого греха тут, если по-иовому взять. Надо только, чтобы человек человеку понравился, а оиа ему страсть как нравится, потому что никогда ои не видел такой жеищины, к которой расположеиье имеет. Потребуется ей, он и в Романово увезет, и в город обратно доставит, если дело какое осталось там...

Улыбнулась бабеика, заиграла глазами.

— Вы мие очеиь иравитесь!

— Чем?

— И лицом и характером.

— На лицо ие гляди! — сказал Гурьян деловито.— С лица никогда ие разглядишь настоящего человека, особеиио в крестьяиском положенье. Грязный мы народ, с землей важдаемся. Писаря которые, те белеиькие, на бумагах сидят.

Опять улыбиулась оиа.

— Я писарей ие люблю!

Гурьяи восторжеино подхватил:

— Ты не любишь, а я терпеть ие могу!

— Почему?

— Линия другая у них. Если замуж желательно выходить, к примеру, за непьющего человека, живущего в домашнем удовольствии, кого хошь выбирай, только ие писаря: пьяиица на пьянице, и в грудях у каждого чихотка сидит.

Ехали.

Или дорога под гору пошла, или мерину легче стало: все порывался бежать ои, дергая телегу, а бабенка в беленьком платочке останавливала его за вожжу, похозяйски уговаривала:

— Стой, стой, кочки тут!

Гурьян не перечил. Пусть правит. Можа, и к нему через это привыкиет скорее. Когда выбрались иа торную,

укатанную дорогу, взяла бабенка ременный кнут на длинном кнутовище, ласково сказала:

— Можно ударить вашу лошадь?

— Айда вали!

— Чего-то жалко...

— Для вашего удовольствия можно!..

Без ножа режет любовь каждого человека, зарезала она и Гурьяна, сделала покорным, улыбающимся широкой неестественной улыбкой. Скажет теперь пассажирка ему: «Слезь, я одна посижу!» — слезет. «Иди вдоль оглобли!» — пойдет. А все ботинки виноваты с узенькой юбкой и русая овечья кудерка на лбу. Наклонился к бабенке, тревожно шепнул:

— Хочешь, потешу тебя для нашего знакомства?

— Как?

Подобрал Гурьян распущенные вожжи, встал на колени, свистнул, гикнул, неистово закричал:

— Малышка, грабют!

Дернулась телега, будто в воздух поднялась, завертелась поднятая пыль, загремели колеса с лубками, попадали назад мимо бегущие десятины. Мерин вытянулся, приложил уши, дробно застучал задними ногами в передок, а Гурьян, стоя на коленях, с растрепанной головой, взмахивая руками, неистово кричал пьяным разыгравшимся голосом:

— Малышка, выручай!

Обогнали пешехода, испуганно свернувшего в сторону, обогнали телегу со спящим мужиком, врезались в посевы, запрыгали по бороздам, готовые сломать деревянные оси. Бабенка, причина любви, испуганно держала Гурьяна за левую руку и вдруг обняла Гурьяна около самых подмышек. Сама обняла, не вытерпела.

— Гурьян Никанорыч, у меня головокруженье.

Глянул Гурьян в глазенки испуганные, увидал любовь промелькнувшую, бросил вожжи.

— Стой, Малышка, будет!

Мерин остановился.

Тогда Гурьян сказал бабенке:

— Чего еще велишь?

— А чего вы можете сделать?

— Все могу, если всурьез дело пошло...

Бабенка прижалась к нему головой.

— Какой вы хороший!

Больше Гурьян ничего не помнит. Как во сне, просил ее выйти за него замуж, рассказал, что он бездетный, что у него скоро умрет мать-старуха, и станут они жить вдвоем. Как во сне, видел Гурьян мелкие смеющиеся зубы, ласково-веселые глаза, городские ботинки на высоких каблуках, и все хотел обнять их, стиснуть, переломить и заплакать над ними, а она, как во сне, била его по рукам, смеялась, грозила тоненьким пальцем:

— Нель-зя!

Наконец, уставшая от игры, сказала спокойно:

— Хорошо, Гурьян Никанорыч, я подумаю. Но прежде чем выйти замуж за вас, я погляжу, как вы живете. Согласны?

Гурьян согласился...

2

Дома встретила старуха в черном платочке. Взглянула на мерина с перетянутыми боками, на Гурьяна помолодевшего. Увидя бабенку незнакомую, недружелюбно подумала: «Какую лихоманку привез — лошадь перегнал, дурак!»

А бабенка будто выросла на этом месте. Соскочила с телеги, ударила руками по юбке, стряхивая пыль, ласково заглянула в лицо.

— Здравствуй, бабонька, как поживаете?

Гурьян улыбался.

Шаги у него были веселые, легкие. Похлопал он мерина, выводя из оглобель, отпугнул петуха, вскочившего на телегу, оглядел хозяйство сытыми заигравшими глазами. Посадил сундучок на плечо, громко сказал:

— Ну, мама, ставляй самовар теперь, чайничать будем!

— А сахару где возьмешь?

— Сахар найдется! — сказала бабенка.

Опять Гурьян улыбался.

Старуха дивилась.

Тоненькая чужая бабенка, заехавшая с дороги, имела над сыном какую-то власть, распоряжалась, как мужем. Ходила под сараем с ним, все выглядывала, во все пролезала тоненькой змейкой, спрашивала:

— Это ваше? А это?

Гурьян только улыбался, будто глупенький, и перечить не мог. Перед чаем бабенка вынула полотенце из сундучка, жестяную коробочку с мылом, ласково сказала:

— Я умыться хочу, Гурьян Никанорыч!

Гурьян принес ведро воды из сеней и сам стоял с ковшом над лоханью, поливая ей на руки, а она мылась долго: терла за шеей, ковыряла в ушах, со смехом говорила Гурьяну:

— Не лей сразу! Дай еще! Лей больше! Не балвай!

Но и это не страшно.

Удивил сам Гурьян.

Когда бабенка сказала ему: «Вам тоже умыться надо, Гурьян Никанорыч!» — он засучил рукава у рубашки, перегнулся над лоханью, растопыривая ноги, а она, поливая на руки ему, опять говорила:

— Шею мойте, шею! Вот тут за ушами потрите! Мыльте хорошенько, не бойтесь.

Долго фыркал Гурьян, расплескивая воду, спрашивал:

— Будет, что ли?

— Мойте, мойте чище!

— Больно хороший буду!

А про себя тихонько посмеивался: «Бес! Заставила умываться, словно суббота пришла...»

Хотел остаться в грязной рубашке, бабенка и тут поперек пошла:

— Неужто у вас и рубашек больше нет?

— Почему нет? — обиделся Гурьян.

— Ну, оденьтесь почище, чтобы я вас другим человеком увидела.

Гурьян улыбнулся, показывая глазами на мать, но тут же выволок сундук из-под кровати, вышел на минуточку в сени и пришел из сеней в розовой шумящей рубахе, в черных миликсиновых штанах, высоко подпоясанный узеньким пояском.

— Вот и я такой. Здравствуйте!

Бабенка ударила его по руке.

Оба засмеялись.

Старуха враждебно молчала. Не нравилась ей тоненькая вертушка: чай пила она не с блюдечка, а прямо из чашки, маленькими глотками, спрашивала, нет ли у

них чайной ложки, почему нет, дрыгала ногой под столом, насмешливо оглядывала и ее, старуху, и старую мужицкую избу, почерневшую от долгих темных лет. Изба — настоящая изба: большая, с двумя скамейками вдоль стен. На кровати — подушки в серых наволочках, полосатая дерюга вместо одеяла и старая дубленая шуба, вывороченная шерстью наружу. Настоящая крестьянская кровать! В почерневшем углу множество икон, синяя лампадка, поминанье, огарок свечи, пучок засохшей вербы. Все, как у хороших людей.

А бабенка недовольная осталась и за чаем говорила Гурьяну:

— Изба мне не нравится! Надо завести другой порядок в ней. Вы религиозный?

— По какому случаю?

— Икон очень много у вас.

— Мама молится на них.

— А вы?

— Бывает, и мы молимся...

— А почему у вас картинок нет на стенах? А зеркала? А цветов на окнах? И занавесок не видно. Разве так дорого?

— Это уж по женскому делу! — улыбается Гурьян.— Можно сделать...

Он чувствовал себя неловко в розовой шумящей рубахе. Мать, наверно, не догадывается, какая тут причина, и люди, если заявятся, не поймут, почему Гурьян сидит, словно на празднике, с расчесанной головой. Выпил он три чашки густого морковного чаю, перед четвертой откашлялся. Крякнул, поглядел на бабенку.

— Мама!

Наступила тишина.

С потолка прямо в чайное блюдечко упал таракан.

«Во черт! — подумал Гурьян.— Не мог в другое время».

Ухватил он таракана за длинный шевелящийся ус, наклонился. Неторопко положил под сапог, неторопко раздавил таракана сапогом.

— Мама, я женюсь!

— Где?

— Вот здесь, на этой женщине.

Старуха опрокинула чайную чашку вверх донышком,

выплюнула иеразжеваиный кусочек сахара нз зубов, ушла в чулан обнжеиная.

Гурьян сказал, успоканвая невесту:

— Ты не глядн иа нее, со мной будешь жнть...

Бабеика не беспоконлась. После чаю она не стала молиться в переднний угол, ие молнлся в этот раз и Гурьян. Она прнслоннлась спнной к косяку, положнла нога на ногу, закурнвая папироску, он осторожио шепнул:

— Курить-то бы не надо пока!

— Почему?

— Не прннято в нашем положенье, чтобы бабы курили.

Бабенка н нос кверху подняла:

— Это меия ие касается!..

Дымок, пущенный под нкоиы, совсем выгиал старуху из нзбы. Поглядела она на погнбшего сыиа, покачала головой, снльно хлопнула дверью. Гурьян немножко расстронлся, а бабенка вниманні не обращает, будто совсем не видит Гурьяновы морщнны на лбу. Села на кровать, покачивается.

— Кровать у вас очень неряшлнвая!

— Какая есть! — глухо ответнл Гурьян.

— Иднте сюда!

— Днем я не лягу...

— Почему?

— Потому что иехорошо получнтся...

Она засмеялась.

— Чудной вы человек! Разве я ложнться заставляю? Мне просто нужно поговорнть с вами.

— Говорнть можно отсюда.

— А я хочу здесь!

Бывает это с человеком, который любнт. Не колдовала на траву бабеика н в воду не глядела, а Гурьян опять ие помннт, как подошел к кровати. Долго упнрался, разговаривая от стола, н все-такн не вытерпел. Очень уж голоснщко проннкающнй. Связал ои Гурьяиа по рукам и ногам, и иет ннкакой снлы отделаться от него. Сначала рядом сел Гурьян, потом очутнлся в лежачем положенни н ее все уговарнвал, чтобы легла, но оиа только рукой погладнла его, будто маленького.

— Вы отвезете меня домой сегодня?

— Угу!..

— Опять прнедете ко мне?

— Угу!..

— Когда?

— Когда велишь.

— Через три дня!

— Можно и через три...

Минут двадцать пил Гурьян сладкую отраву, напился, опьянел и опять, как дорогой, ничего ему не было жалко. И опять, как дорогой, сгорела вся изба с почерневшими иконами и старые хозяйские заботы. Вошла вдова Мокеева, которая соблазняла Гурьяна на замужество, а Гурьян и не смотрит на нее.

— Чего нужно?

— Ничего не нужно.

Повернулась Мокеева, Гурьян ругается:

— Черти, шатаются каждый раз!..

— Кто это?

— Та самая.

— Нравится она вам?

Гурьян усмехнулся.

— Чего в ней хорошего! Мне теперь никто не нравится, окромя тебя.

Хотел он бабенку схватить, а она с кровати вскочила:

— Не надо, Гурьян Никанорыч, я не люблю эдак!..

— Чего стесняться нам?..

— Нет, нет, не нужно...

Вошла старуха-мать, Гурьян не стесняется: держит бабенку за руку около печки, гладит по спине широкой вымытой ладонью. Лицом неузнаваемый стал и глазами совсем не похож на прежнего Гурьяна. Потом будто проснулся от тяжелого сна, крепко вздохнул:

— Ну, ехать так ехать, пока не поздно...

Вышла мать на двор, Гурьян мерина ставит в оглобли, даже отдохнуть не дал ему.

— Куда еще собираешься? — крикнула старуха.

Гурьян не ответил. Настелил соломки в телегу помягче, сверху дерюгой покрыл, вынес сундучок из избы, перехлестнул веревочкой, чтобы краями не стукался.

— Ну, лезай!

Села бабенка, улыбается. Поправила платок на голове, ласково старухе кивнула:

— До свиданья, бабонька, будьте здоровы!

Старуха отвернулась, поджимая сухие, изношенные губы.

— Поезжай с богом, черти тебя накачали на нашу шею!..

Отворил Гурьян ворота, взглянул, точно в последний раз на хозяйство, подумал. Подобрал деревянную лопату, поставил в угол. Поднял запорку от ворот, положил на крыльцо.

— Мама, борону никому не давай, завтра я сам поеду в поле!..

Потом нахлобучил картуз пониже, нехотя полез в телегу и в розовой шумящей рубахе, в черных миткалиновых штанах повез бабенку в будний рабочий день до Романова-села за пятнадцать верст. В улице на него глянули мужики с бабами, молодые затосковавшие вдовы. Все окошки уставились, все избенки повернулись лицом к нему, и каждая избенка будто кричала вслед.

— Гляди, гляди, невесту повез!..

Хлестнул Гурьян мерина под задние ноги, рассердился, еще раз хлестнул и шумно, пугая собак с ребятишками, проскакал в околицу будто нездешний. Мысленно осуждая себя, разглядывал бабенку потухшими глазами: «Интересная штука! Люди работают, а я разъезжаю, черт!»

Совсем было расстроился, а она в лицо заглянула.

— Гурьян Никанорыч, почему вы такой невеселый?

Молчит.

— Давайте шагом поедем!

Опять молчит.

— Куда вы торопитесь?

Гурьян завозился:

— Чудное дело! У меня хозяйство стоит...

— А почему вы меня по имени не зовете ни разу?

— Когда?

— Все время как познакомилась с вами...

Смешно стало Гурьяну, обмяк.

— От-ты грех-то еще! Ты же сама не говорила, как тебя зовут.

И она улыбнулась, вскидывая глазком на него.

— Меня зовут То-о-ней. Эх, вы!..

— Постой, не балвай. Я, кажется, сундук давеча не запер. Уйдет мама из избы, неприятность может случиться...

Гурьян вдруг наморщился, потемнел и даже вожжи

натяиул, останавливая мерина. Подумал: «Ну да, не запер!»

Плюиул через Тониу голову, обижеиио сказал:

— Мучаешь ты меия здорово! Другой бы человек ни за что ие сделал иа моем месте, как я делаю, а я вроде дурачка теперь. Со стаиции задаром вез и опять задаром везу, целый деиь кружусь... Или у меня характер бестолковый, или ты сделала чего-ибудь со мной. По совести сказать, ты ведь совсем не подходишь для меня. Ежели рассердиться мне да ударить тебя — чего получится?

Тоня чуть-чуть отодвинулась.

— Ты не бойся! — сказал Гурьян.— Я к примеру говорю: очеиь сложеиьем ты слабая...

Оиа улыбается.

— Вот не такая, а иравлюсь вам.

— Это верио! — согласился Гурьян.

— И чего скажу, будете по-моему делать?

— Как по-твоему?

— Чай, ие сделаете?

— Ну, говори.

— Если я скажу: «Гурьяи Никаиорыч, привези кизяков возок!» — откажешься?

— Это другое дело.

— А муки пуд не привезешь, чтобы пирогом хорошим угостить тебя?

Гурьяи засмеялся:

— Ну, и цыганка ты, видать! Постой, сожму хорошенько...

— Ой, не иадо!..

— Для тебя и еду за пятнадцать верст, должиа понимать. Я не про это говорю. Для работы малеиько трудио будет тебе с иепривычки после города.

Тогда оиа иачала говорить серьезио: и лицом ей нравится Гурьяи, и характером, а как живет да как работает — не очень нравится: теперь так ие живут, по-другому начинают. Мужик ои иестарый, бывал иа войне, видел кое-что, а изба у иего грязиая, и сам ои грязиый, книжек ие держит, иичем ие интересуется, кроме чериой работы. Давеча она иарочио поглядела в шкафчик, думала, киижки там, а в шкафчике чашки иемытые стоят да мертвые сухие таракаиы валяются. Думал ли об этом Гурьяи когда-нибудь?

Гурьян, застигнутый врасплох, откровенно сознался:

— Когда же мне думать?

— А дальше как будете жить?

Гурьян отвернулся.

«Здорово допрашивает, будто в трибунале...»

И тоже спросил:

— Зачем это нужно?

— Потому что сватаете вы. Не могу же я выйти за вас, если вы не измените свою жизнь. Какая мне радость в грязной избе сидеть? Это наперед говорю, в грязной избе я не согласна. И себя ломать на работе, как вы ломаете без толку, тоже не хочу...

Замолчали.

Гурьян поглядел на солнышко, на короткие предвечерние тени, бегущие стороной вдоль телеги, тронул мерина вожжой, тихонько подумал: «Здорово я спутался с ней, ни к чему!»

3

Возвращался он из Романова поздно ночью.

Мерин с перетянутыми боками часто разевал голодный рот, оттопыривая хвост, шел усталым шагом. Не прихватил ему хозяин кормецу из дома, думал, там накормят, но мерину ничего не попало в гостях у Тони. Уж очень в бедном положенье оказалась Тонина мать. Даже двора нет. Избенка маленькая в два окошка на переулок, потолок низенький. Есть за избенкой хлевушок куриный...

Самому Гурьяну было лучше.

Сидел он за столом в розовой шумящей рубахе, много выпил чаю и уже не хотел когда, а Тоня опять подливала ему, ласково упрашивала:

— Да, Гурьян Никанорыч, да выпейте еще стаканчик!

Жарко было Гурьяну, утирался прямо рукавом розовой рубахи и все-таки пил, и не было сил из-за стола подняться. Словно гвоздем пришила Тоня к этому месту, и сама рядом сидела, и ногу ему тихонько трогала коленкой, будто нечаянно. Поднялся Гурьян через силу, вспомнил мерина голодного около окошка в переулке, но Тоня и тут покорила любовью:

— Куда вы торопитесь? Лошадь — не человек, потерпит. Мама, свари ему пару янц. Знаешь, мама, какой он добрый? Никто на станции не сажал, а он посадил бесплатно и сюда вот привез...

Тонина мать тоже угощала Гурьяна, будто ближнего родственника.

— Кушай, миленький, кушай! Дай бог тебе здоровья за это...

Гурьян сидел, как в чаду. Крякал, поглядывал на мерина из окна, грызущего наклеску голодными зубами, думал: «Сейчас уеду. Разве можно лошадь морить?»

Досадно и на Тоню было. Неужто только и чаем за это поит, что он бесплатно привез? Где же любовь? Куда остальное пошло? Почему она не скажет матери, что Гурьян по другому случаю возится с ней целый день? Нахмурился он и даже отодвинулся. Поглядел на мерина из окна, поднялся.

— Спасибо вам за чай, за сахар! Поеду.

Но никогда не знает человек, что может сделать с ним женщина. Не знал и Гурьян. Взяла его Тоня за руку, вывела в сени. Обнял Гурьян в сенях ее, пахнуло в лицо горячей обидой, сказал:

— Эх, и мучаешь ты меня здорово! Никак нельзя мне дольше сидеть...

А она повела в куриный хлевушок, встала спиной к плетню.

— Поговорить нам негде с тобой...

Если баба прислоняется к плетню, и мужику приходится это самое делать. Прислонился Гурьян рядышком около Тони, уговаривает:

— Ехать надо!

А она перед ним такая маленькая, такая несчастная.

— Приедешь еще?

Тут и Гурьян несчастным сделался. Вздохнул всей грудью, потрогал Тонину кудерку на лбу:

— Конешно, приеду.

— Почему же такой невеселый?

Гурьян горько рассмеялся:

— Чудной вы народ, ей-богу! Неужто я мог поехать, если бы не такой случай! Ты считай, сколько мне встанет гулянка с тобой!

— Дорого?

Опять залезла Тоня в самую душу. Опять позабыл

Гурьян про мерина голодного. Помолодел глазами вспыхнувшими, взял любовь свою за руки и держал, словно соломинку золотую, гладил кудерки на лбу дрожащими пальцами. Еще хотел чего-то сделать — она не позволила.

— Нельзя этого сейчас!..

— Почему?

— После, когда поженимся...

— А зачем ты матери не говоришь?

Смеется.

— Приедешь через три дня, тогда и разговор будет другой.

— Э-э! — сказал Гурьян.— Ты вон какая, видать.

— Какая?

— Я не способен на это — друг друга мучать. Гляди вот сразу на меня: нравлюсь — говори, не нравлюсь — не надо. Зачем по-пустому слова кидать? Мне игрушками заниматься, сама знаешь... Лошадь-то целый день стоит некормленая...

— Чего же ты хочешь?

Поглядел Гурьян голодными заблестевшими глазами, плюнул в обе ладони, стиснул Тоню в руках, поднял и начал носить по куриному хлевушку.

— Я вот чего хочу!.. Раздавить тебя хочу я!..

— Стой, стой, нельзя!..

— Али кричать будешь?

— Мама идет...

И опять упала любовь Гурьянова на самое дно. Горит в глазах, выходит из ноздрей горячим духом, дрожит в ногах, беспокойная. Разожмутся крепкие руки, качается Гурьяново тело, будто пьяное. А Тоня на ухо шепчет:

— Приезжай!.. Через три дня...

Не заметил Гурьян, как вечер подошел. Покалякал с Тониной матерью насчет хозяйства и вдруг рассердился окончательно. Быстро поставил мерина в оглобли, поглядел на месяц, вылезающий из-за села, выругал Тоню, Тонину мать и всякую любовь, которая бывает. Поправил шлею на хвосте у мерина, мрачно сказал:

— Домой айда!

Вышла Тоня проводить. На плечах у ней пуховой платочек, в волосах под месяцем светит костяная гребенка с двумя самоцветными камешками. Увидел Гурьян

два камешка, хотел стиснуть Тоию около телеги, чтобы дольше помиила, оиа ему пальчнком вот так:

— Нель-зя!

Тут Гурьян нахмурился. Лошадь можио голодной броснть и хозяйство забыть, а ей такого пустяка нельзя.

— Прощай!

— Ты рассердился?

— Сердиться тут нечего, ехать иадо...

— Я тебя жду.

Вынесла Тоиина мать два яйца в тряпнчке, подала Гурьяну.

— На-ка вот, миленький, ребятншкам твоим гостннчика. Будет дорога мнмо лежать — заезжай.

Тоия громко смеялась.

Гурьяи даже ие обериулся к ией.

Мерин с радости ударился рысью.

И теперь, выехав в степь, собирая перепутаниые мысли, думал Гурьяи: «Ну и попал я здорово в эту историю!»

Прнпомиилась Тоия в хлевушке. Сам побожнлся два раза, что прнедет к ией через три дня, и пуд муки прнвезет, и крышу иа нзбе перекроет.

— Тьфу, черт!

Вылез Гурьян из телеги, пошел вдоль оглобли. Увндал иа себе розовую рубаху с миликсииовыми штанами, покрутил головой.

— Вот смех-то где!

Мерин вдруг встал.

Думал Гурьяи, что мернн помочнться захотел, и тоже встал. Оглядел далеко поле, утонувшее в белом сумраке иочи, ударил киутовнщем по оглобле.

— Айда, Малышка, не стой!

Мерин не трогался.

— Что такое?

Обошел Гурьяи с обеих сторои, опустнл поперешиик.

— Шагай потихоиьку, шагай!

Мерии оскалнл голодный рот, показывая хозяину желтые зубы, блеснувшие на месяце. Прошел шагов двестн, опять остановнлся. Гурьян плюиул иа переднее колесо.

— Доезднлся, сукии сын, докатался! Завтра иа работу ехать, а он вот иейдет. И что у меия за характер

дурацкий — целый день лошадь проморил! Ах ты, господи! Кому хошь скажи — не поверит...

Крякал, ругался Гурьян, а мерин не шел. Если насильно гнать, еще хуже загонишь.

— Тьфу, черт!

На телеге лежала дерюга с пологом. Рядом в долинке зеленела трава. Время теперь часов двенадцать ночи. Лучше уснуть до утра, утром на зорьке можно поехать.

— Ну и характер дурацкий!

Затащил Гурьян мерина в долинку, выпряг, привязал вожжой за шею, другим концом — за колесо. Мерин набросился на траву с голодухи, а Гурьян, завернувшись в дерюгу, лежал под телегой. Навалилась дрема избяная на него, подогнула ноги ему, будто на печке, перепутала, остудила горячие мысли. Он уже не сердился, не ругался, не крякал, добродушно посмеивался над собой в легкой убаюкивающей дремоте:

— Ну, и штука интересная! Ездил на станцию по общественному делу, очутился в поле за пятнадцать верст от своего села. Лежу, как дурак, и хозяйства не надо. Тьфу, проклятые бабы! Ну, что ты будешь делать с таким характером? Нет в своем селе этого добра, распустил глаза на чужую. Дай, чай, если Марью взять или Мокееву Прасковью — в самый раз настоящие бабы! А эта малюшка какая-то, синтепа. Сожми в кулак хорошенько, и останется одна ерунда. Смех! Придавил я ее давеча локтем нечаянно, а она: «Ой, батюшки!» Это шутя только, а если на самом деле тиснуть покрепче?

Гурьян сонно рассмеялся, чувствуя себя здоровым озорником. Приподнял голову, прислушался, как мерин хрупает траву, опять начал дремать. Сначала подошла к нему Марья Лизарова, овдовевшая второй год: грудями полная, телом справная, щеки кровью горят. Села кошкой и давай заигрывать.

— Кого замуж возьмешь? Городскую?

— Ну, шутишь! — сказал Гурьян.

Потом Прасковья Мокеева подошла. Стиснула шею Гурьяну крепкими мужицкими руками и тоже заигрывать начала.

— Кого замуж возьмешь? Городскую?

— Да нет же, нарочно я с ней! Разве мысленное де-

ло по-сурьезному тут? Баловство одно от нашей глупости.

Совсем отказался Гурьян от Тони, вся любовь песком рассыпалась: баловство! А Тоня (бывает это с каждым человеком) после всех и влетела в Гурьянову голову маленькой пичужкой: тоненькая, в узенькой юбке. Глядеть не на что, а Гурьян глазами оторваться не может. Хотел сказать ей чего-то, а она говорит ему:

— Спи, Гурьян Никанорыч, устал ты нынешний день, я тревожить тебя не стану.

Обнял Гурьян дьявольскую бабенку против своей воли и проспал в обнимушку с ней до утренней зорьки. Когда поднял голову, подхваченный утренним холодком, мерина в долинке не было.

— Батюшки!

Вскочил Гурьян как сумасшедший.

— Стой!

Вот и вожжа оборвана на колесе.

— Увели! Батюшки!

Увидал два яйца в телеге, грохнул их о землю, наступил на них, как на змею подколодную, ухватил себя за волосы.

— Чего буду делать? Зарезали!

Бежит Гурьян по следам лошадиным через яровые, весенние всходы, в голове — туман, в ушах — звон, ноги подгибаются.

— Господи!

Подумал, опять пустился бежать. Выбежал на бугорок.

— Ах, нечистая сила!

Мерин на овсах лежит и боками раздулся, словно колода. Увидал хозяина, голову поднял. Хотел Гурьян ударить его от досады, но тут же подумал: «Он не виноват!»

4

В молочном рассвете четко обозначились межники с поникшим полынником, черные, глубокие борозды на парах. Вылетела из травы ранняя птичка, молча пролетела над Гурьяновой головой. Бросались в глаза узенькие суслиные норы, золотыми полосками красило солнце

еще темный восток, а Гурьян все ехал и никак не мог доехать до своего села. И оно будто передвинулось верст на десять с прежнего места, и мерин будто тащился воробьиными прыжками. Вглядываясь вперед мимо левой оглобли, отыскивал Гурьян злыми глазами Акимову мельницу на пригорке. Обязательно должна она показаться раньше всех, но мельница не показывалась. Все пропало, все ушло вперед, только тоска хозяйская глубоко сидела в расстроенном сердце. Чем больше разгорался восток, выпуская острые стрелы, тем сильнее становилась тревога. Вставал Гурьян на колени, ползал по лубкам, опять садился, протягивая ноги, мутно глядел на подпотевшего мерина, роняя вожжи из рук. Сонно, медленно стучали колеса по ямкам, сонно, медленно хлопал мерин копытами, вешая голову, и вся земля, вся жизнь на земле казалась погруженной в медленный сон.

Когда показалась Акимова мельница на пригорке с черным застывшим крылом, солнце поднялось высоко. Пели жаворонки. Сочно дышала земля утренними травами. Из нор вылезали суслики, свистали, смеялись над Гурьяном и снова падали в норы, вскидывая задние лапки. Встретился Петр Назаров — хозяин, работяга. Сидел он в телеге немытый, нечесаный, грязный, в худом пиджачишке, сытно курил табачок. И лошадь была сытая у него, с крутыми боками, и сам Павел похож на настоящего мужика, а Гурьян в розовой рубахе — бездомовец, дурак дураком, и глаза не знает, куда спрятать. Павел на работу выехал, Гурьян из гостей возвращался. Наказанье с таким характером!

— Откуда скачешь? — спросил Назаров, придерживая лошадь.

Замешкался Гурьян, задвигался, под затылком стало горячо. Хотел по совести признаться,— неудобно, и начал вдруг ругать революцию. Никак нельзя нашему брату с нынешними порядками! Поехал он на станцию вчера по общественному делу, комиссара повез, а на станции, понимаешь, попалась этому комиссару бабенка: свояченица, што ли, или еще какая родная — черт их узнает! Ну, комиссар сейчас за Гурьяна: вези, говорит, до Романова. Она, говорит, тоже по общественному делу, и мандаты у нее всякие есть. Он, Гурьян, и так и эдак начал увертываться: и лошадь у него не годится, и колеса плохие, да разве можно с ними нашему брату

говорить? Повез! В ночь обратно побоялся ехать, лошадей отнимают, а бабенка эта, понимаешь, оказалась женой другого комиссара. Привез он ее, сейчас его за стол посадили, ешь чего хочешь. Вот, понимаешь, живут! Вина разного четыре бутылки, если не больше, рыба всякая, калач и, кабы не соврать, гусь жареный. А если не гусь, то либо курица, либо утка. Ну и Гурьяну попало. Выпил он три штуки натощак, ноги у него и примерзли тут. Всю ночь кружился с комиссаром, песни пел. И эта, понимаешь, бабенка-то, прилипла в сенях к Гурьяну, за руки хватает. Он пьяный-пьяный, все-таки неловко ему. Хотел стиснуть ее, она как тяпнет его в это место...

— Укусила? — спросил Назаров.

— Выпимши была!

Рассказывал Гурьян и сам не верил, что умеет так врать. Павел поверил. Оглянулся назад — нет ли кого? — и тоже выругал теперешнее начальство, которое мужиков гоняет по разным делам.

— С нас курей собирают, шерстью, маслом, а сами тово... За это тоже нельзя хвалить. Берешь коли, делай по совести.

На гумне с вязанкой соломы возилась Мокеева Прасковья.

Гурьян остановился.

— Работаешь? Бог помочь тебе!

Прасковья отвернулась:

— Езжай дальше мимо наших ворот...

— Что нос-то гнешь? — крикнул Гурьян.

И Прасковья крикнула через плетень:

— Нам куда до вас! Мы простые, деревенские.

Гурьян ухмыльнулся.

— Язва, смеется!..

Пробравшись на двор через задние ворота, он долго кружил возле телеги, вытирая мерину подпотевшее брюхо, думал: «Надо в избу идти».

И все-таки медлил.

Вышла мать-старуха по-прежнему в черном платочке, сухо сказала:

— Ты что, сынок, вернулся скоро?

Гурьян молчал.

— Пожил бы там денька три, нагляделся бы хорошенько. Эх ты, головка неразумная! Да пущу ли я ее в

дом? Да дам ли я ей в руки хозяйство? Да я ее кипятком сварю, подлую! Богу не молится и табак лопает помужицки. А уж телом-то — тьфу! Я, старуха, толще ее! И кудерки распустила на лбу, зеркало ей нужно с занавесками. У-у, лихоманка, нечистая сила, согрешила я, грешница! Лучше не води ее, а приведешь — на стенку повесь такую занозу.

Гурьян не оправдывался. Ошибся маленько он, сам понимает теперь. Тряхнул головой, сбрасывая тяжелый сон, стащил с себя розовую рубаху с миликсиновыми штанами, оделся в старое. Завтракал молча и думал о том, как он поедет сегодня боронить дальнюю десятину, как вернется потом домой, все позабудется, все уляжется на свое место, и он же после будет смеяться над своей любовью. А из блюда на него (это бывает с каждым человеком), из блюда на него поглядела Тонина кудерка, выпавшая из-под беленького платочка, Тонина гребенка с двумя камешками самоцветными и глаза узывающие. Положил Гурьян ложку на стол, задумался. Старуха-мать спросила:

— Еще подлить тебе?

— Не надо.

— Или там сладко наелся?

Гурьян не ответил. Взял ложку, опять начал есть. А когда старуха-мать поставила блюдо с кашей, в ухо Гурьяну чуть слышно шепнул невидимый голос: «Почему вы такой невеселый, Гурьян Никанорыч?»

Оглянулся Гурьян, посмотрел в окно на едущих по улице мужиков с боронами, перекрестился два раза, вылез из-за стола, не трогая каши. Опять в ухо шепнул невидимый голос: «Разве вы религиозный?»

Нахмурился Гурьян, потер левый висок горячей ладонью, хотел что-то припомнить. Переобул лапоть на одной ноге, вытащил топор из-под кровати, и вдруг захотелось ему пить. Страшно захотелось. Почерпнул ковшик воды из ведра, а в ковше таракан с мухой плавают.

— Чертова грязь! — выругался Гурьян и выплеснул воду на пол.

Старуха-мать из чулана ругалась:

— Чего плещешь? Или наехало на тебя? Чай, не крыса попала туда. Сроду не пил такую воду, озорник?

Гурьян оглядывал избу злыми встревоженными глазами. Да, много он пил такой воды, теперь больше не

хочет. Изба ему тоже не понравилась. Откуда столько грязи в ней? Ни одной картинки на стене! И кровать черт знает на чего похожа, только лошадям с коровами спать... Везде мухи, тараканы. Э-эх, дьяволы! Топором бы всех порубить, окаянных.

В поле Гурьян выехал поздно, ехал один, и, когда проезжал мимо мужиков, работающих на своих десятинах, было ему досадно и скучно. Всегда так бывает скучно после праздника, а у Гурьяна наступили будни — старые, надоевшие. И мужики смешные все, низенькие, коротконогие, с большими ширинками, кругом волосами обросли, землей выпачкались: под ногами земля, в носу земля, в ушах земля и на зубах земля. Вспомнил Гурьян жену-покойницу, и тут же рядом с ней встала Тоня в узенькой юбке, с самоцветными камешками в волосах. Как прошла мимо Гурьяна — будто ласточка пролетела в воздухе; как завертела узенькой юбкой, будто ласточка длинным хвостом, да как глянула русой кудеркой на лбу — сразу потемнела жена-покойница, с которой прожил десять лет. Потемнели и Марья с Прасковьей, потемнели все вдовы знакомые, потемнели все девки полногрудые, и одним только солнышком на всей земле глядит на Гурьяна тоненькая остроносая Тоня ласковым играющим глазом. Идет, двигается она из степного полыхающего марева, в хмель бросает, без огня жжет Гурьяново сердце. Сидит Гурьян на телеге, смотрит сонными заплывшими глазами. Вскинет голову, встряхнет дрему навалившуюся, ударит мерина вожжой и опять сидит, покачивается. Сонно стучат колеса по кочкам, сонно поют жаворонки, текут сонные Гурьяновы мысли.

Думает Гурьян.

Если впустить Тоню в старую отцовскую избу — ничего не останется от старой отцовской избы. Сама богу не молится и над ним будет смеяться, когда он захочет помолиться. Иконы покажутся лишними. Занавески на окнах придется повесить и подушки на кровати сменить. Куда дело пойдет, если волю дать по-настоящему? Может быть, он не послушает ее, но может быть, и послушает. Захотела она вчера вымыть его да в рубашку праздничную нарядить — сделал он. Шутя-шутя, а все-таки покорился. И опять сто раз покорится, потому что любовь к ней какая-то есть, расположенье...

Думает Гурьян.

Проходит перед ним старая прожитая жизнь, и стоит в этой жизни граневым столбом маленькая, чудная Тоня, приехавшая из города. Хочется Гурьяну пойти вместе с ней в новый, соблазняющий путь. И сложеньем она не такая, как все, и слова у нее не такие, как у всех. Помнит Гурьян, как она говорила вчера: и лицом он нравится ей и характером, а как живет да как работает — не нравится. Изба у него грязная, сам грязный и книжками не интересуется.

Течет степное марево, обнимает солнышко, шумит ветерок. Будто нашел на Гурьяна крепкий, хороший сон, и видит он во сне маленькую остроносую Тоню, ни за что не хочет расстаться с ней. Пусть разломает всю жизнь у него, пусть поссорит с матерью, заведет новый порядок в старой отцовской избе...

Мерин останавливается.

Громко лает собака на чужой десятине...

Гурьян просыпается...

5

Прошло три дня, потом еще три дня и еще один день. Гурьян работал в поле, месил кизяки на гумне, устал, перемазался, но ехать к Тоне не собирался. По вечерам в избу к нему забегала Прасковья Мокеева то за солью, то за топором, то будто к Гурьяновой матери по бабьему делу. Гурьян смотрел на нее издали, вплоть не подходил и руками не трогал. О Тоне тоже не думал. Правда, сама она проходила в голове у него, но он не думал. И если осматривал чекушки с колесами и хлопал мерина по плечу, то не потому, что к Тоне поехать хотел: просто так.

В пятницу вышел грех.

Вечером, когда Гурьян стоял под сараем в темном углу около колоды, с улицы в калитку вошла Мокеева. Остановилась у крылечка, поправила платок на голове. Не видела она Гурьяна, а Гурьян ее всю видел: стоит в белой кофте с вышитой грудью, в девичьей юбке с двумя оборками. Отряхивается, потягивается, глядит под сарай. И так Гурьяну стало жалко ее, так обидно, что он напрасно расстраивался,— разве она хуже той? Шагнул навстречу в темноте, окликнул:

— Чего ходишь тут?
— Ой, батюшки, как ты напугал меня!
— Ну, ну, обмерла!..
— Постой, солдат, постой!
— Нет тут никого...

После Мокеева держала Гурьяна за подол, упрашивала сесть, но Гурьяну было скучно. И сам не знает, что такое с ним. Не любит он больше ни Марью, ни Прасковью: слова у них другие и глаза другие. Не обожгла любовь Прасковьина, не опалила, а легла на сердце тяжелым укором. Встала опять около Гурьяна маленькая остроносая Тоня, повела его в темную избу, уложила на пыльную деревянную кровать. Запахло шерстью от вывороченной шубы. Зажмурился Гурьян, долго лежал он без движения, вытянув ноги. Слушал, как падают тараканы с потолка, как ползет по стенам темная давнишняя тоска, и вся жизнь у Гурьяна свернулась в темный комок. Вошла мать-старуха, стала говорить, Гурьян не слушал. А когда в дверях показалась Мокеева в белой кофте с вышитой грудью, он вскочил с кровати неузнаваемый и, без фуражки, в распоясанной рубахе, вышел в сени, из сеней — на двор, со двора — на улицу. Всю ночь тосковал, хотел даже запьянствовать. По одну сторону Мокеева плачет, укоряет нехорошими словами, по другую — Тоня с укором: «Почему не едешь ко мне?»

Если к Тоне ехать — Мокееву бросить надо.

Если с Мокеевой оставаться — скучно.

В субботу Гурьян мылся в бане у Ермолаевых, старательно скоблил за шеей, в ушах, парил голову кипятком, обжигался, но был очень доволен и душевно тих. После бани попил чайку в одиночку, съел два яйца, просушил голову, отправился к Яшке Вороненому поправить волосы немножко. Яшка — мастер. В десять минут отделал он Гурьяна под ерша, будто новобранца, приехавшего на солдатскую службу. Оглядел подбородок, заросший волосами, стал бритву точить.

Гурьян не перечил. Провел рукой по голому затылку — хорошо! А когда Яшка вылизал подбородок ему — и лицом моложе стал.

— Ты, Гурьян, жениться, что ли, хочешь? — спросила Яшкина баба.

— А что?

— Больно модничать начал.

Надул Гурьян бритые щеки, сказал:

— Надоело в волосах ходить! Жарко, и пыль всякая садится каждый раз.

— А правда, ты городскую берешь из Романова?

Яшка был друг, вместе на войну ходили, и Гурьян рассказал ему всю историю.

— Вот, понимаешь, бабенка налетела на меня — не оторвешь никак! Везу ее со станции, прошу тридцать лимонов за подводу, а она вытащила сто, смеется: «Сдача есть?» Я, понимаешь, глаза вытаращил на нее. У меня, говорю, нет такой сдачи. Ну, она опять улыбается. «Вы, говорит, женатый?» Вижу, играет со мной, прижимается. Знаешь, как бабы всегда: головой вертит, глазенками ширяет и рукой меня трогает, будто невзначай. «Извините, товарищ, задела я вас!» Гляжу на нее, думаю: чего мне с ней сделать? Начал подпускать разных прокламаций и тоже: нет-нет, да и задену рукой, будто невзначай. «Низвините, говорю, товарищ, я вас тоже задел». Ну, она, понимаешь, ничего, смеется только и в глаза глядит. Слово за слово — разговорились. Сидим, конечно, рядом: я вот так, она вот так. Это моя нога. Это ее нога. Ехали-ехали, мне надоело лавочку разводить. Беру ее за плечо, говорю: «Есть у вас муж?» — «Нет!» — «Одна живешь?» — «Конечно, говорит, скучно, куда же деваться!» Тут мы и уговорились...

— А свадьбу когда? — спросила Яшкина баба.

— Свадьбу хоть сейчас начинай, дело за мной стоит.

— Почему?

— Хочу до осени подождать, характером узнаю получше...

Яшка слушал молча, потом вдруг поднялся:

— Богатая она?

Гурьян задумался:

— Как тебе сказать! Сундук она везла из города, ну, я, понимаешь, насилу поднял его.

— А в сундуке чего?

— В сундуке всякая всячина, я уж там не глядел...

Яшка начал ходить по избе. Походил немного, остановился.

— Все-таки дурак ты, Гурьян!

— За что?

— Я бы на твоем месте взял у нее портмонет и не отдал и в сундуке хорошенько пошарил.

— Ну!

— Вот тебе ну! Можа, она мазурка какая! Откуда она столько нажила?

Гурьян улыбнулся. Вернулся он от Яшки поздно, долго не мог уснуть. Поднимал стриженую голову, которая будто легче стала, улыбался, опять засыпал, видел во сне картинки на стенах, занавески на окнах, книжки, газеты, а среди этих книжек — о н а, тоненькая городская бабенка, перевернувшая всю его жизнь.

Рано утром, когда еще куры сидели на нашесте, Гурьян запряг мерина, насыпал в мешок из кадушки пуд муки-обойки, достал из погреба кусок коровьего масла, завернул в тряпицу и, поссорившись с матерью, поехал в Романово повидаться. Он опоздал на шесть дней, чувствовал себя виноватым, но утешал его пуд муки-обойки и кусок коровьего масла: за такой гостинец можно принять в любое время. Улицей Гурьян ехал шагом, чтобы не тревожить собак. Люди в избах еще спали, никто не видал, никто не спрашивал, куда едет Гурьян, и ему это было на руку. Но Прасковья Мокеева не спала. Когда он стал подъезжать к ее избенке, она выгнала корову из калитки. Сначала не узнала бритого человека, потом от волненья выронила прутик из рук.

— Куда тебя понесло?

Гурьян не ответил. Резко стегнул мерина, простучал колесами в утренней тишине, скрылся за околицей. Там опять поехал шагом. Лежал на боку, смотрел на розовеющий край неба и думал о том, что вот он едет в Романово, везет пуд муки-обойки, кусок коровьего масла. В Романове его встретит Тоня, сначала поругает маленько, потом поставит самовар, поговорят они, поиграют и оттуда, наверное, приедут вместе. Если не захочет она венчаться, и он не будет: дело не в этом. Только бы уваженье иметь между собой, обоюдное согласье. Изба Гурьянова не нравится ей, он и тут перечить не станет. Велит она картинок купить — купит. Велит занавески купить — и занавески купит. Сколько тут встанет — пустяки!

Думал Гурьян, и думы у него были теплые, тихие,

на душе покойно, радостно, и вся жизнь впереди стояла радостная, обновленная.

Больше человеку ничего не надо...

6

Было рано.

Мерин подвез прямо к избенке — запомнил дорогу. На двух окнах белелись занавески. Гурьяну это понравилось. Из глаз у него брызнул веселый, праздничный смешок, губы разъехались в улыбку.

— Устроила уж, успела! Ах ты, батюшки!

И Тоня сама и Тонина избенка с двумя занавесками показались милее, роднее и ближе Гурьянову сердцу. Поставил он лошадь за стенку, пока не выпрягая, осторожно толкнул запертую дверь. Погладил бритые щеки, улыбнулся, одернул подол у рубашки.

Тоня не отпирала.

Гурьян поглядел в щелочку одним глазом, увидел Тонину голову на белой подушке, Тонины ботинки с длинными голенищами на полу около кровати, тихонько сказал:

— Спит!

Обошел вокруг избенки, поправил челку на лбу у мерина и тоже сказал ему, как хорошему товарищу:

— Спит!

Посидел на наклеске, выкурил вертушок, пересчитал воробьев на ближнем заборе — восемь штук. Поискал камешек, чтобы кинуть в воробьев для шутки,— не нашел. Потрогал муку с маслом под пологом, поглядел на солнышко, засмеялся:

— Ну, и спит долго моя барыня. Пойду разбужу...

Подошел к сеням, постучал сильнее в запертую дверь.

— Кто там?

Прозвенел колокольчиком давно неслыханный голосишко, у Гурьяна и ноги разъехались от нетерпенья. О н а!

— Кто там?

— Мы это, я! — сказал Гурьян и вдруг рассмеялся.— С праздником вас!

Выглянула Тоня из сеней, протянула в дверь тоненькую теплую руку:

— А-а, здравствуй! Проходи в избу, сейчас я оденусь.

Шагнул Гурьян в сени, будто в туман густой, увидал в густом тумане деревянную кровать, белую подушку, начал слабеть, мучительно озираться, широко раскрывая рот счастливой улыбкой. По глазам ударили Тонины плечи, теплым золотым колечком обвила Гурьяново сердце Тонина кудерка, смятая за ночь. Протянул Гурьян в густом тумане длинные дрогнувшие руки, будто Тоню обнял, будто к себе прижимает, а она совсем далеко от него: стоит в уголке и платком закрывается, и голос неласковый слышно оттуда.

— Иди в избу, я же раздетая!

Улыбнулся Гурьян, ничего понять не может. Поднял с полу Тонину ботинку на высоком каблуке, длинный Тонин чулок, от которого пальцы горят, светит глазами влюбленными.

— Ну, ну, одевайся скорее, отвернуться можно... Но опять у нее неласковый голос:

— Гурьян Никанорыч, я же рассержусь! Не подходи сюда.

— Ах ты, мать честная!

Выбежал Гурьян из сеней, раскрыл пыльный полог на телеге, взял в одну руку муку-обойку фунтов тридцать, в другую — кусок коровьего масла, завернутый в полосатую тряпичку. Вернулся с гостинцами, душевно положил их на полу около Тониных ног.

— Вот вам от меня маленькая штучка!

Не вытерпело тут Тонино сердце: взяла она за руку Гурьяна, говорит:

— Слушай, может быть, ты себя обижаешь? Теперь это дорого стоит.

Гурьян улыбался:

— Кому дорого, кому нет. Для вас привез. Желаете взять — берите, не желаете — прямо говорите, я насильно не буду...

Пришла от обедни Тонина мать, Тоня сказала:

— Видишь, мама? Гурьян Никанорыч привез.

Старуха всплеснула руками:

— Батюшки, добро-то какое! Почем, сынок, положишь нам?

Гурьян улыбался:

— Сделаемся! За деньгами гнаться не стоит...

Потом пили чай. Сидел он рядом с Тоней в переднем углу. Тоня сама наливала ему из маленького самовара, сама ставила стакан перед ним, сама говорила:

— Пей еще!

Потом, когда ушла старуха из избы, сидели они в сенях на Тониной кровати. Сладко кружилась Гурьянова голова, жаром горели выбритые щеки. Лечь бы ему головой на белую подушку, обнять душевно Тоню, заплакать от радости, засмеяться: «Эх, Тонька, Тонька, мучаешь ты меня здорово!»

Тоня первая сказала, поправляя гребенки в волосах:

— Оставайся до вечера. Вечером пойдем в народный дом, спектакль там у нас будет. Хочешь посмотреть, как я играю на сцене?

И Гурьян охотно ответил:

— Ну что же? Можно и это поглядеть.

— Танцевать умеешь?

— Зачем?

— Я бы пригласила тебя после спектакля...

Гурьян вскинул голову.

— Что-то не занимался такими делами...

— А выучиться хочешь?

— Как?

— Я научу, если хочешь.

— А ну, показывай, коли желательно...

Поставила она его посреди сеней, дверь на запорку замкнула, положила Гурьянову руку себе на плечо, постучала каблуком в половицу.

— Самую простую научу — польку-мазурку...

— Постой, а зачем учить ее?

— Не желаешь?

— Нет, я к примеру спрашиваю.

— После узнаешь, после! Фу, мужик неуклюжий! Стой вот так!

Смеется Тоня, вертит Гурьяна, будто солдата деревянного, юбкой путает ноги ему. Кто выдумал эту самую любовь? Смешно Гурьяну над собой. Смешно и непонятно, какая сила кружит его по запертым сеням. Будто не он кружится с Тоней, а кто-то другой. Будто не он тяжело отдувается, неуклюже загребая ногами, а кто-то другой, совсем не похожий на Гурьяна. Не гармонь-двухрядка — сердце Тонино играет, и под эту музыку пьяную топает Гурьян тяжелыми сапогами, насту-

пает на Тонины ботинки, а она, веселая озорница, колотит его юбками по коленкам, подгоняет, подстегивает, светит камешками на гребенке, светит зубами из-за припухших губ и опять кружит, ненасытная.

— Ух, не умеешь ты!

Как во сне стоит Гурьян перед ней, как во сне поднимает ее на воздух, кладет на кровать. Смотрит в лицо не своими глазами, давит ей губы не своими губами, не своим голосом говорит:

— Тоня!

— Ну?

— Неужто ты не понимаешь ничего?

— Ну, говори!

— Зачем я приехал сюда?

Раскрыл Гурьян душу свою, начал говорить, будто на исповеди. Разве нарочно мучает он себя вторую неделю и лошадь гоняет второй раз? Разве не верит она, что он от хозяйства отстал? Почему же не скажет она ему окончательно? Если не нравится любовь его — домой он соберется и никогда не станет в глаза попадаться. А если согласна она — избы бояться нечего: избу всегда можно перестроить, как сама велит, и занавески на окнах можно повесить, и картинки купить, и книжки с газетами завести. Гурьян ни в чем не положит запрета ей, только пусть она не мучает его и скажет ему окончательно: «Да, Гурьян Никанорыч, я согласна!» Или «Нет, Гурьян Никанорыч, я не согласна!»

— А венчаться как? — спросила Тоня.

— Как сама велишь.

— В церкви я не стану...

— На это наплевать! — обрадовался Гурьян.— Ты не станешь, и я не буду — дело маленькое...

— А воля моя как?

— Какая воля?

— Если вздумаю уйти от тебя, когда не понравишься ты своим характером?

— Это видно будет там, сейчас не узнаешь. Может быть, и бежать не придется.

— Ну, хорошо! — улыбнулась Тоня.— Ночью обо всем поговорим, а сейчас в народный дом пора, репетиция у меня! Пойдешь?

Гурьян улыбнулся, разводя руками.

— Куда же деваться теперь, если такая история начинается у нас!

Глядел он в Тонины глаза узывающие, видел кудерку на лбу, белые зубы из-под припухших губ, старую мать в черном платочке, старую отцовскую избу с черными углами, думал: «Эх, мазурка, мазурка! Придется, видно, всю жизнь под коленку теперь — ничего не поделаешь...»

1923

ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА

Литератору деду Гольдебаеву,
с любовью

1

У деда болят ноги. Лежит под великолепным тулупом на волчьем меху, легонько вздыхает. В комнате полутемно. Дует ветер. Мороз стукает лбом в деревянные стены. Дрова на исходе. Рядом — Шекспир в роскошном переплете. Крепко держится за любимого из любимых.

— С голоду буду сдыхать, а его не продам.

Очень уж брюхо мучает. Бросит дед ему корочку за день, закроет глаза и лежит с мягкими посеребренными волосами. Изо рта плывет теплый дымок. Дед оттопыривает губы, фукает, как маленький:

— Ф-ф!

В солнечные дни легче. По стенам бегают зайчики, лезут в бороду, греют высокий умный лоб. Над окном, под крышей, длинная февральская сосулька.

— Ишь, какая дура! — улыбается дед.

Хочется и ему на улицу. Пройти бы по городу, похрустеть снежком, выставив нос из воротника, наглядеться, наслушаться — сапог нет. Тридцать лет писал повести с рассказами, а сапог не заработал. Сидит у окошка и щурится.

— Ничего, только бы душу сохранить...

Фырчит автомобиль с товарищем комиссаром, извозчики на углу хлопают рукавицами. Кавалерист-красноармеец в малиновой фуражке бодрит голодного коня. Идут на субботник. Кирки, лопаты, песни, улыбки. Молодость! Впереди — красное знамя с золотыми кистями, позади — розвальни с мертвым на кладбище. Плачет женщина, не поднимая головы. Ползет инвалид на железных крючках.

Дед отворачивается.

— Голод...

Аленка, дочь, с черными смородинками глаз, укачивает куклу на коленях.

— Спи, кума, спи. Волк придет...

Смотрит дед на Аленкины смородинки и не чувст-

вует, как на бороду ему падает крупная тяжелая слеза.

— Ты что, папа?

— Так, ничего. Зима на улице.

— А знаешь, папа, чего мне хочется?

— Конечно, знаю.

— Да нет, папа, не этого! Ты думаешь — молока?

— Ну?

— На пароходе мне хочется проехать. Да-ле-ко-о!

— Ну, что же, прокатимся... В Черное море, в Мраморное море, в Каспийское море, потом ударимся в Атлантический океан, рыбу будем ловить: рыба там очень большая — с нашу кровать...

Слушает Аленка россказни на коленях у деда, от сладости закрывает глаза. Любовно теребнет волосок из серебряной бороды.

— Я не сплю, папа, рассказывай. Вот настолечко не сплю...

Вечером приходит Бегунок, молодой беллетрист. Шапка на затылке, пальто нараспашку. Зима, а Бегунок бегает по городу, как в мае месяце. Только ботинки стучат молотками. Тоже брюхо гоняет. С утра собирает репортерские строчки по профсоюзам, изучает психологию большевиков для начатой повести, а после четырех скачет на Соловьиную к деду.

Отощал дед. Синие брюки широки в опушке, кажутся не своими. Рубашка треснула, длинный английский пиджак остался без пуговиц, а глаза горят хорошим молодым огоньком.

— Друг пришел.

Топится железная печка, стреляют поленья. На столе — керосиновый «наперсток». Дед сам придумал дешевое электричество. Разыскал стеклянную баночку, надел жестяной колпачок, вставил ваточные фитили.

— Молния, а не лампа!

Аленка — как белка: прыгнет на колени к деду, от деда — на шею к Бегунку. Делает козлиные рога из двух пальцев — запыряет! В окна косо светит месяц. Ходит Мороз — красный нос, колотушкой постукивает.

— Кому жарко? Кому нет?

Бегунок рассказывает сказку Аленке. Жил-был богатый мужик. Напекла ему старуха полпуда пирогов, говорит: «Не ешь все — бедным оставь». А старик жад-

ный был. Взял да и съел все пироги один. Съел и захворал.

— Умер? — спрашивает Аленка.

— Маленько не дошло до этого: старуха стыдить начала. Вот какой ты безбожник, старик! Разве можно одному пироги есть? Надо было девчонок накормить.

— Каких?

— Да мало ли! У сапожника — две, у слесаря — две...

— Я тоже не ела... — вздыхает Аленка.

— Стыдно стало старику. Велел старухе испечь еще двадцать фунтов для голодных девчонок. А я в это время мимо шел. Вижу — пироги раздают, кричу: «Дайте мне! Дайте мне! Аленушке я отнесу... Девчонка у нас эдакая есть, черноглазая».

Бегунок вынимает маленький кусочек. Глаза у Аленки горят радостью и удивлением.

— Во-от... Папа!

Дед поглаживает бороду.

— А мне старик не прислал?

— Завтра обещался.

— Папа, я дам тебе немножко...

Аленка отрывает крошку от мякиша, кладет деду в оттопыренные губы. Дед любовно обсасывает Аленкины пальцы, крепко целует в черные играющие смородины.

— Спасибо, дочка, наелся...

— Да нет, папа, ты не наелся...

— Что ты, дочка, по сих пор наелся...

Хорошо с друзьями да в теплой натопленной комнате. Дед становится молодым. Весело двигает больными ногами в опорках, рассказывает о Питере, о Париже, где смолоду кружился, о писательских вечеринках. Бегунок смотрит восторженными глазами.

— Какой интересный, старый черт!

— Только бы до весны дожить,— увлекается дед.— Солнышко я очень люблю. Смерть мне зимой — коченею...

— Вы тоже повесть пишете?

— А как же? Целый роман...

В комнате празднично. Ветер воет, лепит снегом в побелевшие окна, а дед с Бегунком — на берегу Черного моря. Мечтают. Скромная писательская дача, горы, балкон, далекий белый парус. Оба заканчивают по большой повести. По вечерам собираются на балконе.

Аленка хозяйничает за самоваром. Коммуна. Нет ни жадностн, ни корысти, нн тяжелых забот, омрачающих душу. В полдень расходятся. Бегунок кидает прнбрежные галечкн в море, мечтательно смотрнт в шнрокнй простор. Дед блаженствует. Ходнт по берегу в сннНх заштопанных брюках, точно фазан — вперевалочку, ласково подставляет голову под горячее крымское солнце. Хорошо! Кннгу бы иаписать такую — солнечную. Налить ее радостью до краев и сказать всему человечеству:

— Пей, жаждущее!

Глаза у Бегунка туманятся. Молодое сердце стучнт взволнованно. Обнять хочется деда. Очень уж интересный, старый черт! Как вином поит. Слушаешь, а за спнной крылья...

— Дед, ведь это возможио!

— Что?

— Киигу такую написать...

— Очень даже возможно. Унывать только ие иадо... За золотом гнаться не стоит: душу оно высасывает. А писателю нужиа душа. Без душн ои — орех пустой, погремушка... Вы зиаете, кем должен быть писатель?

Дед стоит возбужденный, горячнй, борода — на боку. Бегунок улыбается: сюжет ннтересный нашел, тороплнво обдумывает форму. Рассказ? Нет. Драма? А, черт! Повесть... Шарнт по кармаиам.

— Дед, табачку у вас не завалилось?

— Или курнуть захотел?

— Во рту иемиожко нехорошо.

— Есть хочется?

— Да нет, будто не хочется...

Оба смеются.

2

Далеко весиа. Далеко Черное море. Ходнт Мороз — красиый нос, колотушкой постукивает.

— Кому жарко? Кому иет?

Бегунок стреляет по базару. В одной руке книжки со своимн рассказамн, в другой — пнсательская шляпа с дедовой головы. Спекулянт. Голос звонкий, всех торговок покрывает.

— Кому хорошую шляпу? Эй, шляпу! Кннжки, кннжки!.. Интересные книжки...

— Пирожков, пирожков! Кому горячих пирожков!

— Книжки, книжки! Кому надо книжки?

Пляшет от холода, шуточками перекидывается, шляпой помахивает.

— Шляпу, шляпу! Эй, шляпу! Дешево отдам...

— Табачку, табачку! Моршанского табачку! Курнешь, языком оближешься... Пробуй, товарищ, не стесняйся! Российский табачок, первый сорт...

Сидит Бегунок на корточках перед табачником, вертит застывшими пальцами пробу. Жадно глотает махорочный дым. Накурился. Бочком-бочком, да и в сторону...

— Что же вы, товарищ?

— Горчит немножко.

— Сам ты горчишь.

— Жареного мяса! Жареного мяса!

— Фу, какой запах!

— Эй, шляпу! Кому шляпу?

— Черт возьми, ноги отморозишь...

— Книжки, книжки! Интересные книжки!

— Придется назад нести свою лавочку. Разве в карман залезть вон к этому?..

— Шляпу, шляпу! Кому хорошую шляпу? Товарищ, купите книжечку!

— Нет, товарищ, не до книжек теперь. Может быть, через них и страдаем третий год.

А деду все хуже да хуже. С голоду, что ли, болезни наваливаются? В прошлом году палец срубил, вчера открылась ранка. Сердце отказывается работать. Капут старику. Лечит его Аленка, молодая докторица.

— Что у вас болит?

Дед закрывает глаза.

— Папа, да ты говори.

— Сердце болит, товарищ доктор.

— А еще?

— Палец болит.

— Я вам хины дам.

— Пожалуйста, товарищ доктор.

— А еще я вам капель дам. Они очень помогают от разных болезней.

Лицо у Аленки серьезное, черные глаза опечалены. Наливает воды из чайника.

— Выпейте натощак.

Дед смеется.

— А иоги у вас ие болят?

— Болят, Аленушка, все болит...

— Папа, да я же теперь не Алеиушка. Неужели ты забыл?

— Вииоват, товарищ доктор, забыл.

— Фу, какой вы беспамятный, товарищ Семеиов! Ну, лежи, папа, не смейся. Ухаживать за вами будет сеєтра милосердия. Катя!

Алеика берет румяную куклу с кудрявыми волосами.

— Вот, Катя, сегодня вы дежурите. Если товарищу Семеиову будет хуже, позовите меия. Я пойду обед готовить. Товарищ Семеиов, сегодия вы получите куриный суп. А иа второе... м-м-м... Папа, я забыла, чего иа второе?

— Молочка стакаичик.

Алеика как молодая березка около старого дерева. Ласково смотрит в глаза.

— Жалко мне тебя, папа. Все ты хвораешь... И я маленькая, ие умею иичего... Ты ие веришь, папа?

— Верю, дочка, верю!

— А, все равно, я ие брошу тебя, папа. И большая вырасту — ие брошу. Зиаешь, куда увезу?

Тихонько шепчет в ухо:

— На Чериое море.

Блестят глаза у деда от иепрошеных слез — улыбается.

— Ты ие веришь, папа?

— Да верю, дочка, верю...

Бегуиок приходит расстроеиный. Грозно стучит промерзлыми ботинками, с сердцем кидает товар иепродаиный. Дед беззлобио играет улыбкой.

— Ну, как торговлишка?

— Ничего ие дают.

— Гм... Мошеииики!

— Ненавижу я брюхо!

— Противиая штука!

— Оио ведь гоияет...

— Ну да — оио. Я бы его с удовольствием вырезал — доктора ие берутся. Очеиь, говорят, операция опасиая: остаиешься с одиой головой — пропадешь.

Не хочется старику огорчать милого друга, разводит турусы. Да и на что это похоже? Хлеба нет, дров нет. Неужели и последнюю отраду прогнать?

— Не тужи, разлюбезный друг,— перемелется. В будущем человечество обязательно уничтожит желудок.

— Обидно, дед.

— Ну, что там — обидно. Конечно, обидно! Дело не в этом. Потерпеть надо. Не мы одни голодуем — время такое пришло... Неужели на каравай хлеба будем менять революцию? Голубчик мой! Ждали-ждали, да и сменяем? Разве можно так убивать себя? Я вот старик, колода ненужная, и то веселее гляжу. Или мы сроду не знали нужды? Знали, ох как знали! Не баловали нас пирогами с начинкой. Бывало, напишешь рассказишко, пообедаешь, а ужинать в люди бежишь. Придет время, поживем и мы. Эка важность — денек не поесть! Чай, мы не из верхних этажей... Нас этим не удивишь — голодухой-то... Возьмем да и сварим сейчас картошки в мундире, нам ведь не мясо нужно... Аленка, ну-ка!

Дед засучает рукава, храбрится, трясет бородой.

— Мы и нужду в печке сожжем. У нас недолго...

— Папа, она разве горит?

— Загорится, как посадим на горячие угли. Дай-ка мне ножик!

Щепает лучину, покряхтывает, шуточками нужду прогоняет.

— А-а, не хочешь в печку лезть? Врешь, полезешь. А ты что, голубушка, загораться не хочешь? Чик! Потухла. Ага!.. Язык высунула... Двух спичек нет. Еще осталось две. Богачи! Да я умирать буду — не променяю революцию на пироги с лепешками. Ноги вытяну, а все-таки крикну: «Крепись, ребятки!» Аленка, лезь под кровать за картошкой! Сделаем масленицу сегодня, а там что будет...

Хмурится Бегунок. Рассмеяться бы над дедовой храбростью, да на сердце скоблит в одном уголке. Дед притворяется, будто не видит, что друг не в духах. Петухом около печки кружится. Соринки и пылинки кидает в огонь: тепло загоняет.

— Эх, и заживем мы на будущий год!

А за спиной Аленка тянет тоненьким голосом:

— Па-а-па, картошки-то у нас не-ет!

— Как нет? Агитируешь?

— А мы ее вчера съе-ели...

Глаза у деда туманятся.

— Ну, ребята, никому не рассказывайте: картошку мы съели вчера.

3

Подобрал Мороз — красиый нос свои колотушки, ударил в последний раз и ушел из города неизвестно куда. Заплакали вслед ему крыши, полились апрельские слезы. Разыгрались ручейки по канавкам, замертво попадали сосульки, сраженные солнечными копьями. Весна.

Не верится деду. Сидит на крылечке под солнышком, греется. Жарко. Распахнул полы у великолепного тулупа иа волчьем меху, воротник отогнул. Давит тулуп, словно жернов висит на плечах. Так и хочется сбросить тяжелый зимний мешок. К чему ои теперь? А мимо — татарин-старьевщик. Угадал дедовы мысли.

— Нет ли сява продавать?

Недолго думает дед. Раз с татарином по рукам — и сидит иа крылечке в одном пиджаке. Осиротел. Не то хмурится, не то улыбается. Начал было деньги пересчитывать — бросил. Ну их к черту! Дурак человек, иичего не придумал, кроме денежиой радости. Увидала Алеика бумажное море,— руками всплеснула.

— Па-па! Где это ты?

— Старик прислал.

— Да нет, папа, не он.

Ухмыляется дед. Гложет на сердце, жалко тулуп. Придет Мороз — красный нос,— не отвяжешься... А солнышко в окно утешает.

— Не бойся, старик, не заморожу!

Бегунок прибегает взволнованный. Выхватил десятитысячную из кармана — хлоп на стол! Удивить хочет.

— Дед! Радуйся...

А как увидал дедовы капиталы на столе — язык высунул от удивления.

— Черт возьми, дед! Я, наверное, сплю...

Весело деду. Заложил руки в карманы, брюхо покупечески выставил наперед, озорничает.

— С нами, брат, не шути!

— Где это вы столько?

— Тулуп заколол.
— А я построчник получил.
— Значит, живем?..
— Живем...

Льется радость — не удержишь! Ударить в колокола — настоящая пасха. Шутка ли, денег-то сколько!.. А впереди — еще больше. Богачи! Тащит Бегунок два фунта лучшей баранины, картошек, перцу, луку, лаврового листу. Вьюном вертится, налаживает чайник. Кутить — так кутить. Аленка на корточках смотрит в железную печку, губы языком вытирает. Колесом ходят запущенные картошки! Перец с луком в нос лезут, лавровый лист запах пускает. Вот так обед. Королевский! Дед с ложкой — как часовой с ружьем. Вокруг печки похаживает, носом потягивает. Сунет ложку в чугун, попробует:

— Хорош!

Гостей бы созвать теперь, да вечеринку устроить, да милыми разговорами душу насытить. Давно не ел горячего Бегунок — обжигается. Пот выступил на лбу, разрумянился. А наевшись, голову на стул запрокинул, ногу на ногу положил, махорочку сладко потягивает. Буржуй! Дед — настоящий король. Наелся супу — капризничает: сахару требует к чаю. Кутить — так кутить! Что деньги? Мусор! Не было — пришли, не будет — опять придут. Аленке хочется молочка стаканчик. Увивается около деда, смородинками играет. Ну, как не купить?

— Поберечься бы, дед!
— После побережемся.

Ох, нужда, нужда! Дальше беги от этих людей — отчаянные! Особенно старичишка в опорках. На улицу не в чем выйти, а он философствует:

— Вещи — черви. Смолоду до могилы душу сосут. Самая лучшая завязь от них погибает. Ремесленником из-за них делается писатель, бакалейным торговцем. К черту богатство! Да здравствует писатель-бродяга!

Бегунок расцветает улыбкой. Пьет чай с молоком, сахаром во рту сластит. В кармане — кисет табаку. Вот бы всегда так. Пускай другие с миллионами путаются, душу бумажками обкладывают. Этого Бегунку не надо. Разве только брючишки переменить? Да нет, и без них

обойдется пока. Главное — литература. Можно ли променять сладкую тоску писательскую на золото и серебро? Да будь они прокляты!

Деду тоже немного надо. Роман бы закончить скорее, скорби душевные вылить.

— Теперь обязательно закончим! — успокаивает Бегунок.— Я тоже задумал роман. Купим муки немного, пшена, масла. По вечерам будем лепешки печь.

— Разве выгодно?

— Еще бы! Дров меньше, хлопот меньше. Прихожу я в четыре часа, засучаю рукава. Раз! Лепешка. Раз! Еще одна. Вам лепешку, мне лепешку, Аленушке — две. Лепешки надоедят — за блины ухватимся для разнообразия. Много есть не будем. Заморим червячка — поработаем. Поработаем — опять заморим.

Дед улыбается.

— Остановись, паренек, очень уж хорошо выходит у тебя.

— Еще лучше выйдет, дед.

— Да что ты?

— Я теперь ничего не боюсь. Ботинки изорвутся — босиком похожу.

Мечтают. Радуют друг друга хорошими разговорами, а в комнате у порога — товарищ с широким мандатом.

— Это комната номер четыре?

— Да.

— Очень приятно.

С нынешнего дня она принадлежит ему. Бегает дед по мандату непонимающими глазами, дружески говорит:

— Недоразумение, товарищ: я живу в этой комнате полтора года. Жену из нее схоронил...

И товарищ дружески говорит:

— Но у меня же мандат. Вы видите, у меня — мандат.

Дед на дыбы.

— Помилуйте, я — писатель! Я не могу оставаться без комнаты.

Товарищ улыбается.

— Что значит — писатель, когда я сам лицо уполномоченное? Идите в жилищный отдел.

Дед смотрит на Бегунка.

— Что делать?

Бегунок презрительно отворачивается.

— Сходим. Дорогу мы знаем.

А сердце колотит тревогу: быть беде!..

4

Сегодня переселенне в землю Ханааискую. Алеика укладывает кукол в суидучок, дед чеботарнт. В одиой руке — шнло, в другой — иголка с белой нnткой. На колеиях — старая резнновая калоша с оторваиной подметкой. Над нуждой смеется старик.

— Аленушка, дай мне иовые ниткн.

— Папа, ведь у нас нет их!

— Разве все вышлн?

— Давно.

— А-а, ну ладно... Я старыми почнню... Онн думают — иапугалн меня. Я н в скворешннце проживу. Я, милые мон, не это вндел... Опоздали немножко пугать-то. Все равно, солнышко ие покннет нас. Натопит пожарче свою печку и скажет: «Грейтесь, ребята бездомные!» Фу ты, лешнй ее закусай! Опять ннчего не выходит. Алеика, нет лн бечевкн у нас?

— Зачем тебе?

— Как зачем? Не выходит у меня ннчего. Резина рвется, ниткн рвутся, а мастер я — вятскнй.

— Это какой, папа, вятскнй?

— Ну, очень хорошнй. Была одна дыра, стало четыре. Вот какой я мастер! Понщи, дочка, мы лучше бечевками свяжем ее...

— Папа, дай я кольну разок.

— Или умеешь?

— Я иедавно платье чннила себе — хорошо вышло.

На лбу у Аленкн русый хохолок. Стоит в фартуке, рукн в боки. Черные смородинки иалнты хозяйской заботой. Мать... Вылнтая мать! Теплый свет в глазах, хорошая подкупающая улыбка. Волной нахлынулн воспоминания, растревожнли, растравилн. Выроннл дед резиновую калошу нз рук, налнваются скорбью морщннки.

— Эх, Аленка, Аленка! За тебя сердце болнт.

Прнходнт Бегунок. Лнцо веселое.

— Скоро в Крым поедем, дедок?

— Сейчас поедем. Аленка, готова ты?

— Я давно готова, папа.

— Ну, я тоже готов. Милый друг, заверни-ка Шекспира. Помогай! А чернильницу положи в карман себе. За кроватью мы после придем. Эх, чугунок еще остался. Аленка, ложку-то подбери! Беда с этим имуществом.

Бегунок утешает:

— Вы, дедок, не тужите. Правда, комната у меня маленькая, тесно нам будет. Ну, зато вместе. Устроим коммуну писательскую...

— Верю.

Дед надевает двое чулок, старые резиновые калоши с привязанными подметками.

— Батюшки мои, багажу-то сколько! На извозчике не увезешь.

Бегунок у дверей держит Аленкин сундучок с куклами, мешочек с посудой, рваный чемоданчик с дедовыми рукописями. Сам дед прижимает Шекспира под мышкой. Аленка от нетерпения прыгает: на улицу хочется. Всю зиму просидела запертой царевной в разбойничьем терему. Из дверей выскакивает первая. Глаза разбегаются.

— Папа, папа, гляди-ка!

А нога в луже торчит по самую щиколотку.

— Па-а-па!

Дед вышагивает позади с белой расчесанной бородой. Рыжее писательское пальто, нитками перевязанные калоши на ногах делают его неузнаваемым среди уличной толпы. Ноздри раздуваются, в глазах — вызов.

— Тронь, кому надо, узнаешь, кто я!..

А солнышко — прямо в лицо старику:

— Милости просим, бродяги бездомные! Милости просим!

Бегунок дергает за рукав.

— Дед, калоша-то развязалась...

— Калоша-то? А мы ее опять привяжем.

Кладет Шекспира на ближнее крылечко, ставит ногу на ступеньку, долго пыхтит над калошей.

— Мы ее вот как перетянем, она и не будет дурачиться...

Смеются ребятишки над дедовым ремеслом, смеется солнышко с высокого неба, смеются Бегунок с Аленкой, но веселее всех самому деду. Топает перевязанной калошей по мокрому тротуару, лукаво подмигивает.

— Вы, ребята, не смейтесь! Мы еще поживем. А уж рассказ напишем, так напишем. Прелесть!

1925

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Сергеевич
Неверов

МАРЬЯ-БОЛЬШЕВИЧКА
Рассказы

Редактор И. Плахотникова
Художник Б. Малахов
Художественный редактор Г. Саленков
Технический редактор В. Тушева
Корректоры А. Володина, О. Червякова

ИБ № 4760

Сдано в набор 09.10.86. Подписано к печати 23.12.86. Формат 84x108/32. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2. кн.-журн. Усл. печ. л. 5,04. Усл. кр.-отт. 5,25. Уч.-изд. л. 4,69. Тираж 500 000 экз. Заказ 261. Цена 40 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
445043, Тольятти, Южное шоссе, 30

Неверов А. С.

Н40 Марья-большевичка: Рассказы.— М.: Современник, 1987.— 93 с.

В сборник вошли одни из лучших рвссказов Александра Сергеевича Неверова (1886—1923), такне, квк «Красноармеец Терехин», «Я хочу жить», «Марья-большевичка», «Веселые ребятв» и др. В них А. Неверов талантливо показывает острые социальные и психологические конфликты, которые происходили в процессе классового расслоения крестьянства, роль большевиков в борьбе за новую жизнь.

Н $\frac{4702010200-026}{М106(03)-87}$ 149—87

ББК84Р7
Р2

40 коп.

